



Семен Филиппович Добкин

Родился в Гомеле в 1899 г.,
Умер в Москве в 1991 г.
Специалист по полиграфии
и издательскому делу.
Автор нескольких книг по
проблемам книгопечатания,
в том числе учебного пособия
по вопросам оформления книги.
Преподавал на художественно-
графическом факультете
Московского полиграфического
института.



Носиф Моисеевич Фейгенберг,
профессор, доктор мед. наук

Родился в Гомеле в 1922 г.,
Работал в Москве, где вел
научно-исследовательскую и
педагогическую работу.
Разработал теорию вероятностного
прогнозирования в психофизиологии.
Автор нескольких монографий,
научно-популярных книг
и многих статей.
С 1992 г. живет в Израиле.

Edmond Mellen

THE EDMOND MELLEN P...



3 1735 043 367 154

Я ДО МОСКВЫ

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
ЛЬВА ВЫГОТСКОГО



HILL
BF109
.V9508
2000

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.Ф. ДОБКИНА

**ОТ ГОМЕЛЯ ДО МОСКВЫ
НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
ЛЬВА ВЫГОТСКОГО**

Из воспоминаний Семена Добкина

Ранние статьи Л.С. Выготского

**FROM GOMEL TO MOSCOW
THE BEGINNING OF L.S.VYGOTSKY'S
CREATIVE WAY**

S.F. Dobkin's Memoirs

L.S.Vygotsky's Early Essays

**ОТ ГОМЕЛЯ ДО МОСКВЫ
НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
ЛЬВА ВЫГОТСКОГО**

Из воспоминаний Семена Добкина

Ранние статьи Л.С. Выготского

**FROM GOMEL TO MOSCOW
THE BEGINNING OF L.S.VYGOTSKY'S
CREATIVE WAY**

S.F. Dobkin's Memoirs

L.S.Vygotsky's Early Essays

Составитель и редактор

И.М. Фейгенберг

Составители комментариев

И.М. Рубина и И.М. Фейгенберг

**Prepared for publication and edited by Iosif Feigenberg,
annotated by Inna Rubina and Iosif Feigenberg**

Исторические документы. Библиография. Мемуары

Russian Documents, Bibliography, and Memoirs

Том 14 / Volume 14

**The Edwin Mellen Press
Lewiston·Queenston·Lampeter**

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

ISBN 0-7734-3385-6

This is volume 14 in the continuing series
 Russian Documents, Bibliography, and Memoirs
 Volume 14 ISBN 0-7734-3385-6
 RDBM Series ISBN 0-7734-3156-X

A CIP catalog record for this book is available from the British Library.

Copyright © 2000 By I.M. Feigenberg

Design by Leonid Yuniverg

All rights reserved. For information contact

The Edwin Mellen Press
 Box 450
 Lewiston, New York
 USA 14092-0450

The Edwin Mellen Press
 Box 67
 Queenston, Ontario
 CANADA L0S 1L0

The Edwin Mellen Press, Ltd.
 Lampeter, Ceredigion, Wales
 UNITED KINGDOM SA48 8LT

Printed in the United States of America

СОДЕРЖАНИЕ

И.М. Фейгенберг. Предисловие.

VII

С.Ф. Добкин

Лев Выготский в моих воспоминаниях

Гомель

1

Семья Выгодских

4

Кружок по изучению истории

7

Гимназия

11

Университетские годы

17

Путь к психологии

30

Революция 1917 года и Гражданская война в России

34

«Века и дни»

37

Выготский и дети

48

Психология

49

Вхождение в большую психологию. Москва

52

Комментарии

60

Ранние статьи Л.С. Выготского

Евреи и еврейский вопрос в произведениях

Ф.М. Достоевского

74

Приложение:

Черновой план статьи

"Евреи и еврейский вопрос в произведениях

Ф.М. Достоевского"

98

М.Ю. Лермонтов (К 75-летию со дня смерти)

99

Литературные заметки

("Петербург", роман А. Белого, 1916 г.)

105

Авудим Хоину

112

Указатель имен

116

ПРЕДИСЛОВИЕ

О людях, оставивших яркий след в культуре, много пишут и их последователи, и сторонники, и оппоненты. Значение этих исследований не вызывает сомнений. Но для воссоздания в представлении последующих поколений живого человеческого образа очень важно увидеть его и глазами современников – людей, знавших этого человека, живших рядом с ним. Свидетельства современников не совпадают между собой – и это совершенно естественно. Разные люди, встречаясь с активной и многогранной личностью, видят ее различные стороны. Нужно только каждый раз помнить не только то, *о ком идет речь*, но и *кто это говорит* – что представляет собой автор воспоминаний (или дневника, или письма); при каких обстоятельствах и в какой роли он сталкивался с тем, о ком и о чем он пишет. Существенно и то, кому он адресует свои воспоминания, при каких обстоятельствах он взялся за перо. В этом отношении хочу вспомнить очень интересную книгу Г.Л. Выгодской и Л.М. Лифановой «Лев Семенович Выготский. Жизнь, деятельность, штрихи к портрету» (М., 1996), в которой Л.С. Выготский показан глазами его дочери.

То же относится и к наследию яркого человека. Чтобы сколько-нибудь полно представить себе его личность, стоит не ограничиваться только теми его произведениями, которые сделали его классиком в той или иной области культуры и науки. Важно познакомиться и с тем, что не попало в изданные «собрания сочинений», что было написано в юные годы, когда только формируется мировоззрение человека, когда в душе его звучат еще только отдельные мотивы, которые лишь позже сольются, преобразуются и станут основой классической симфонии.

XIX век оставил нам огромное культурное наследие в виде писем, дневников, воспоминаний. Это очень ценное наследие. Даже тогда, когда эти записи не представляют собой художественной ценности, они дороги потомкам как документы эпохи, как свидетельства участников и очевидцев событий.

XX век в России несравнимо беднее эпистолярным и дневниковым наследием. Бумаге боялись доверять многое из того, что видели и думали. Рукописи, вопреки Булгакову, горели. А иногда тащили за собою в огонь своих авторов и читателей. Письма в массе выродились в короткие деловые сообщения или просьбы. Писем с описанием и оценкой событий, своих мыслей, почти не писали, а написанные – нередко уничтожали адресаты. Уничтожали даже безобидные письма: мало ли что будет с автором письма – и тогда письмо может стать «уликой» против адресата. Не на пустом месте в 30-е годы родился анекдот: «Мигрень у вас бывала когда-нибудь? – Нет, нет, что вы! Ни она у нас, ни мы у нее».

К демографическим последствиям войны относят не только погибших людей, но и тех, кто не родился из-за войны. Точно так же к культурным потерям периода тоталитаризма надо отнести не только сожженные рукописи, но и не написанные.

Богатая информация об эпохе, о ее событиях и людях хранилась в очень непрочном виде – в памяти современников. Для многих стихов О.Э. Мандельштама долгое время единственным хранилищем была память жены поэта – Надежды Яковлевны Мандельштам; и только это сохранило стихи для нас. Но ведь даже то, что психологи называют долговременной памятью человека – всего лишь кратковременная память человечества. Она живет, в лучшем случае, несколько десятков лет.

Мысль о том, что необходимо перевести ценную информацию из индивидуальной памяти современников в более долговечную форму памяти человечества – на бумагу, как заноза сидела в моем сознании и постоянно болезненно напоминала о себе.

Семен Филиппович Добкин (1899-1991) – брат моей матери – был одним из очень близких мне людей. Он прожил долгую жизнь – почти весь XX век, многое видел и пережил на своем веку, знал многих интересных людей. У Семена Филипповича не было своих детей. И присущий ему «родительский», педагогический талант, ум и доброту он обратил на племянников.

Уже в 30-е годы, когда мы были еще детьми, именно он открыл мне глаза на то, что происходит в стране. Конечно, разговоры были адекватны моему возрасту – не обо всем можно говорить с ребенком. Но Семен Филиппович считал, что и ребенку нельзя говорить неправду. То, о чем говоришь с детьми, должно быть только правдой;

говорить надо только так, как думаешь сам – но на понятном языке и в доступной форме. Такой подход был не частым – даже среди интеллигентных и хороших родителей. Они боялись за детей, боялись «сшибки», конфликта между тем, что ребенок слышит в школе, по радио, читает в детских журналах, и тем, что могли бы рассказать ему родители. Справится ли ребенок с такой «сшибкой»? Родители боялись, что ребенок расскажет что-то товарищам, школьному учителю – и в результате может остаться сиротой. Боялись рассказывать ребенку о прошлом своей семьи, если, например, дедушка принадлежал к старой аристократии, или был до революции офицером, или купцом, или профессором – членом партии кадетов (конституционных демократов), или просто сторонником Временного правительства, или что был репрессирован в послереволюционные годы.

Когда в начале 30-х годов был арестован мой дед, родители говорили мне, что он уехал к сестре на Украину, а Семен Филиппович рассказал мне правду, взяв покатайся с собой на лодке. В конце 1937 года он не боялся в разговоре со мной, 15-летним школьником, назвать Н.И. Ежова «бешеным псом сумасшедшего Хозяина» («Хозяином» тогда называли Сталина). Семен Филиппович читал мне в те годы стихи опального и замалчиваемого школьной программой Бориса Пастернака. Как-то, когда я сказал в связи с одним стихотворением Пастернака, что он пишет непонятно, Семен Филиппович возразил: «Не говори, что он пишет непонятно. Скажи, что это тебе непонятно – пока непонятно».

Семен Филиппович интересно рассказывал мне о событиях, которые видел, о людях, которых знал или выступления которых слышал (например, о смелых выступлениях Максима Горького в первые годы после революции 1917 года). Рассказывал о прекрасном чтении Борисом Пастернаком своих стихов. Рассказывал о прошлом нашей семьи. О многом рассказывал...

С годами все более и более необходимым казалось мне, чтобы эти рассказы были сохранены, переведены на бумагу. Я говорил ему: «Запиши это – если не для печати, то хоть для будущих поколений нашей семьи». Он соглашался: «Ты совершенно прав, это нужно сделать. Вот я буду чувствовать себя лучше – и сяду за это дело». Время шло. Семену Филипповичу пошел уже девятый десяток лет. И силы сесть за работу не появлялось. Тогда я спросил, не смутит ли его, если во время наших бесед я буду включать магнитофон. Он согласился. Не возражал он и против того, чтобы иногда на наши

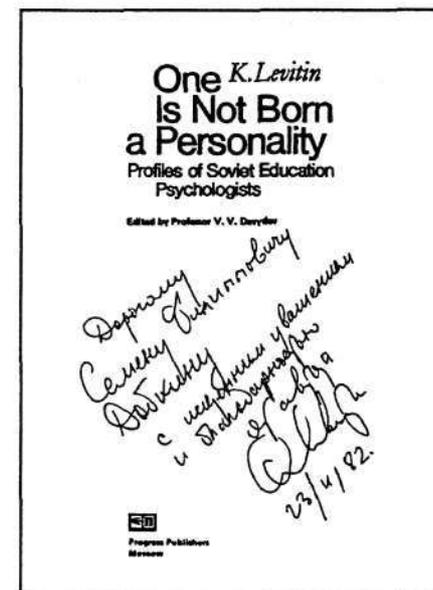
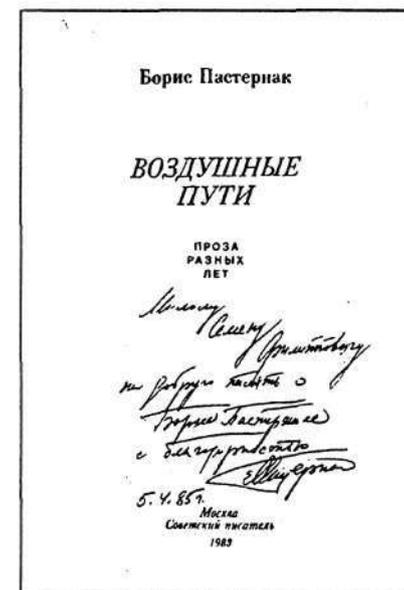
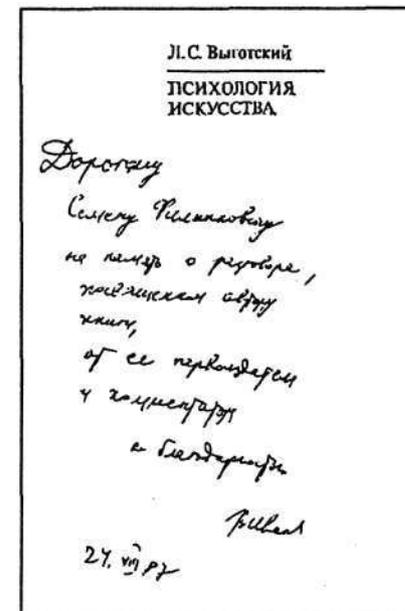
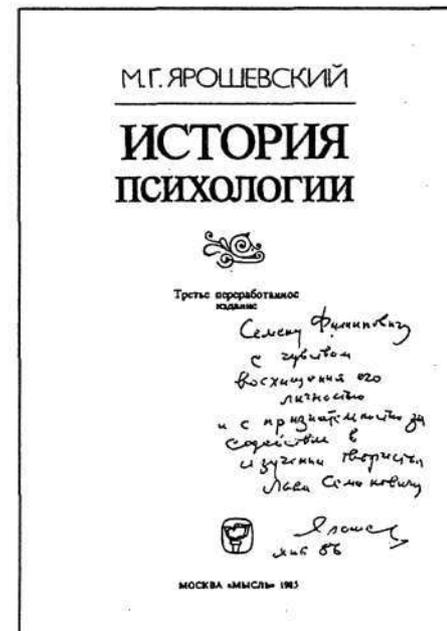
встречи я приглашал кого-либо из своих друзей и знакомых, чье участие в беседах могло быть интересным. Первым из них оказался журналист Карл Левитин, который как раз в то время готовил книгу о психологах России. Книга эта вскоре вышла: K. Levitin. One is not born a personality (Moscow: Progress Publishers, 1982). Одна ее глава основана на рассказах Семена Филипповича. Потом в наших беседах в разное время участвовали Вячеслав Всеволодович Иванов, Евгений Борисович Пастернак, генетик Владимир Павлович Эфроимсон, композитор Григорий Самуилович Фрид, историк психологии Михаил Григорьевич Ярошевский, психолог Андрей Андреевич Пузырей, врач Абрам Львович Сыркин, племянник Семена Филипповича.

Думается, что одними из самых интересных были рассказы Семена Филипповича о *Льве Семеновиче Выготском* (1896-1934) – одном из наиболее выдающихся психологов XX века. Дружба с ним связывала Семена Филипповича с гимназических лет до конца жизни Льва Семеновича.

Характеризуя Выготского, А.Р. Лурия писал: «Не будет преувеличением назвать Л.С. Выготского гением. Более чем за пять десятилетий в науке я не встречал человека, который сколько-нибудь приближался бы к нему по ясности ума, способности видеть сущность сложнейших проблем, широте познаний во многих областях науки и умению предвидеть дальнейшие пути развития психологии» (А.Р. Лурия. Этапы пройденного пути: Научная автобиография. М., 1982, с. 25).

Л.С. Выготский умер совсем еще молодым человеком от туберкулеза. Перед смертью его травили, после его безвременной кончины его труды запрещали, не издавали. И только через несколько десятилетий после смерти многие его произведения были опубликованы, и широким кругом ученых был оценен огромный вклад Выготского в различные области науки. Выготский – создатель культурно-исторической теории высших психических функций и сознания; его труды оказали большое влияние на дальнейшее развитие психологии, семиотики, лингвистики, литературоведения, педагогики. Это ярко проявилось на Всемирном конгрессе в Женеве в 1996 году, посвященном столетию со дня рождения двух великих психологов XX века – Льва Выготского и Жана Пиаже (1896-1980).

В развитии каждого крупного ученого, каждого яркого человека интересно проследить его духовное формирование в молодые годы, когда закладываются основы личности, когда формируются интере



Дарственные надписи авторов, редакторов и составителей - участников бесед с С. Добкиным - на книгах, подаренных ему в разное время

сы человека и его направленность. Молодые годы Л.С. Выготского и С.Ф. Добкина пришлись на время революции и гражданской войны в России. Известна крылатая фраза – дескать, «революции – это локомотивы истории». Но мне на ум приходит другой образ: революции – это моменты, когда потерявший управление «локомотив истории» сходит с рельс... Действительно, после крушения оставшиеся в живых и обновят износившиеся рельсы, и поставят на них усовершенствованный локомотив. Но не лучше ли сделать все это, не доводя до кровопролитного крушения? Не случайно Анатолий Франс назвал свою книгу о Великой французской революции «Боги жаждут» – боги жаждут крови.

В эти трудные годы С.Ф. Добкин и Л.С. Выготский организовали в Гомеле издательство «Века и дни». Это издательство определило весь дальнейший жизненный путь Семена Филипповича. Он стал полиграфистом, некоторое время преподавал на художественно-графическом факультете Полиграфического института в Москве, возглавлявшимся в то время замечательным художником и теоретиком книжного искусства В.А. Фаворским. По теме своего курса, посвященного вопросам оформления книги, Добкин написал и опубликовал несколько книг.

* * *

О Л.С. Выготском, насколько я знаю, не осталось подробных воспоминаний его современников и непосредственных учеников. Это тоже «знак эпохи». В конце жизни Льва Семеновича против него была развернута дикая травля, еще более усилившаяся после его смерти. Симптоматично, что в Малой советской энциклопедии издания 30-х годов имя Выготского упоминается только одной фразой в статье «Психология». В этой фразе говорится о том, что Выготский нанес большой вред советской психологии.

Труды Выготского после его смерти долгие годы не издавались. Многое оставалось в рукописях. Значительно позже, в 1965 году, усилиями Вячеслава Всеволодовича Иванова была издана сохранившаяся в архиве кинорежиссера Сергея Эйзенштейна интереснейшая рукопись Выготского «Психология искусства». В.В. Иванов снабдил ее прекрасными комментариями. После этого были изданы и другие труды Выготского. Появились статьи и книги о Выготском. Но все это – с огромным запозданием. За редким исключением

(А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) писали уже не те, кто знал Выготского непосредственно, лично – писали его «духовные внуки». Поэтому сохранить свидетельство знавших его людей мне казалось особенно важным.

Уезжая из Москвы в Израиль в 1992 году, я взял с собой магнитофонные пленки с записью наших бесед с Семеном Филипповичем, скончавшимся незадолго до этого. Переезд в другую страну – дело непростое. Не все пленки удалось довести до Израиля (в то время советская таможня вообще запрещала провозить пленки с записями). В пути у меня из багажа пропали не только часть пленок, но и почти все семейные фотографии, самым старым из которых было около ста лет. Но часть пленок все же сохранилась; в 1993 году мой внук, Гриша Асмолов, привез мне из Москвы еще часть магнитофонных записей. Собранные вместе, они дали мне возможность составить текст «Лев Выготский в воспоминаниях С.Ф. Добкина». Я старался максимально бережно редактировать текст, сохраняя особенности речи С.Ф. Добкина. Из бесед, записанных в разное время, я составил единый текст, разбив его на смысловые отрезки для удобства чтения. Удалось подобрать некоторые иллюстрации, снабдить текст комментариями.

Семен Филиппович неоднократно подчеркивал, что его воспоминания дают лишь одностороннюю характеристику Л.С. Выготского. Полная картина может сложиться только из сопоставления многих свидетельств. Но для этой полной картины воспоминания Семена Филипповича кажутся мне очень важными. Его взгляд во многом не совпадает с тем, что уже было опубликовано о Льве Семеновиче. Добкин считает, например, что мировоззрение Выготского вырастает, в основном, из философии Баруха Спинозы, а не из Карла Маркса. А взгляды Спинозы Семен Филиппович считает развитием иудаизма – хотя и «еретическим» развитием, с точки зрения ортодоксально-синагогальной.

Связь философских взглядов Выготского со Спинозой подчеркивает и такой глубокий знаток творчества Выготского как Вячеслав Всеволодович Иванов. Он пишет: «Я склонен думать, что его ссылки на Маркса (и тем более на Троцкого и Бухарина – я взял на себя грех вырезать их из «Психологии искусства» – тогда их еще нельзя было цитировать) были в большой степени данью необходимости. Как философ он испытал сильное воздействие Спинозы. Предстоит еще реконструировать его подлинное мировоззрение» (В.В. Иванов. Голубой зверь (Воспоминания) // «Звезда». 1995. № 3. С. 176-177). Далее

В.В. Иванов пишет, что, по его мнению, проблема выделения собственной мысли авторов, писавших в двадцатых и начале тридцатых годов, из-под наслоения обязательных цитат и чужих мнений встает по отношению к Л.С. Выготскому и раннему творчеству А.Р. Лурия, так же, как и по отношению к творчеству М.М. Бахтина. Выготский читал Бахтина под фамилией Волошинова; Бахтин не мог в то время поставить свое имя под некоторыми своими произведениями. В.В. Иванов пишет: «Бахтин не просто взял чужое имя, он частично стилизовал текст в духе предполагаемого марксиста, занимающегося философией языка. В книге есть два голоса: самого Бахтина и этого стилизованного марксиста» (Там же; речь идет о книге Бахтина «Марксизм и философия языка», изданной под именем его друга В.Н. Волошинова в 1929 году).

* * *

Вошедшие в это издание записи воспоминаний С.Ф. Добкина – лишь штрихи к портрету очень крупного ученого. Для создания полного портрета Л.С. Выготского понадобится еще немалое время и труд исследователей.

В книгу включены также несколько статей из написанных Л.С. Выготским в Гомеле, в самом начале его творческого пути. Эти статьи не вошли в собрания его сочинений. Самая ранняя из них – статья о Ф.М. Достоевском – не была им завершена, но, по-моему, и в этой статье, начатой Выготским-гимназистом и продолженной студентом, очень интересно раскрывается внутренний мир, умонастроения юноши, из которого вскоре сформировался крупный и многогранный ученый.

При подготовке этого издания неоценимую помощь мне оказала И.М. Рубина. Вместе с нею были подготовлены комментарии к публикуемым воспоминаниям о Л.С. Выготском. Оформление этого издания выполнено Л.И. Юнивергом, который, мне кажется, опирался при этом на принципы оформления книги, изложенные в трудах С.Ф. Добкина. От всего сердца благодарю их.

Проф. Иосиф Фейгенберг

(Иерусалим)

С.Ф. ДОБКИН ЛЕВ ВЫГОТСКИЙ В МОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ

Я знал Льва Семеновича Выготского почти с детских лет и до самой его смерти. И, тем не менее, то, что я о нем знаю, то, как я его понимаю, то, что я о нем думаю, в какой-то степени отличается от того, что думают и знают о нем другие близкие люди – и члены его семьи, и ближайšie непосредственные ученики. Память о Льве Семеновиче для меня очень дорога. Я не могу считать, что все то, что я помню, и так, как я помню, и то, как я понимаю, – что все это, действительно, правильный и полный образ Льва Семеновича. Это мои воспоминания, мое мнение, мое понимание.

Наши отношения имели не совсем обычный для того времени характер. Несмотря на то, что мы были знакомы с его отроческих, а с моих вроде бы даже еще и детских лет, в наших отношениях никогда не было ничего похожего на «бытовое приятельство», если можно так выразиться. Они были основаны на тех дорогих и важных для нас обоих вопросах, которым, в сущности говоря, было посвящено все наше общение. Именно поэтому мои воспоминания о Льве Семеновиче в какой-то степени рассказывают только об одной стороне этого замечательного, очень сложного и многогранного человека.

Мне бы хотелось сперва рассказать о той обстановке, в которой проходили детство и юность Льва Семеновича Выготского.

ГОМЕЛЬ

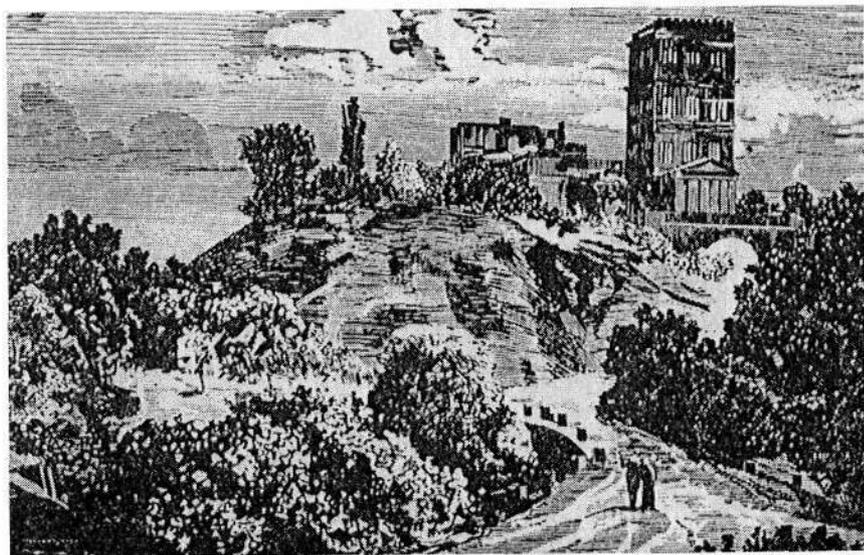
Детство и юность наши проходили в Гомеле¹. Что это за город? В старой России Гомель был даже не губерньским, а уездным городом.

Но это был уездный город, наверное, не похожий на большинство российских уездных городов.

Немного истории. Когда-то Гомель принадлежал князю Чарторыйскому². Екатерина II пожаловала город фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому³, сделавшему для Гомеля очень многое: выстроил свой дворец, как говорили тогда – «замок», причем замок строил Растрелли, создал замечательный парк. Наверное, этот парк был еще при Чарторыйских, но он был как-то перепланирован. Чудесный парк...

После смерти Румянцева-отца, Гомель перешел к его сыну⁴ – одному из выдающихся государственных деятелей России начала XIX века. Если мне память не изменяет, он был канцлером, т.е. нечто вроде министра иностранных дел или что-то в этом роде. Под старость Румянцев-сын переехал в Гомель и занялся изданием разнообразных исторических документов, исторических актов. Это замечательная страница в истории русского издательского дела, в особенности русской научной книги. Румянцев-младший был основателем и Румянцевской библиотеки в Москве. Переписку по всем этим делам он вел уже в значительной степени из Гомеля. Словом, Гомель стал при нем в какой-то, пусть и ограниченной, мере культурным центром.

Потом Гомель перешел к третьему представителю рода Румянцевых, а после него – к князю Паскевичу⁵, который частично купил



Замок князя Паскевича в гомельском парке. С гравюры XIX в.

что-то у Румянцевых, а что-то ему было пожаловано Николаем I. К замечательному замку Паскевич пристроил четырехугольную башню, – она портила, по-моему, ансамбль, а вместе с тем что-то новое и прибавляла к нему. Чудесный парк, где был пруд с лебедями, стена, которая с наружной стороны была усажена каштанами, замок с башней – все это придавало городу какую-то особую красоту.

Замок, парк, озеро, каштановая аллея – все это было непохожим на тот быт, которым был занят весь город. Это был какой-то особый уголок, и он нечто менял в облике всего города.

Гомель был очень живой город. Это объяснялось в какой-то степени тем, что он очень быстро рос, потому как находился на пересечении двух железных дорог и на судоходной реке Сож, притоке Днепра. Поэтому в Гомеле очень быстро развивались и промышленность, и торговля, и ремесла. Очень быстро росло население города, в какой-то степени ставшего одним из центров российских губерний и, конечно, – одним из центров революционной жизни. Была в Гомеле знаменитая Кузнечная улица – центр рабочего движения.

В Гомеле произошло два еврейских погрома. Первый – в 1903 году. Во время этого погрома очень сильной оказалась еврейская самооборона. Получилось так, что погромщики потеряли почти столько же людей, сколько они убили евреев. Через несколько месяцев после первого погрома был суд, но суд не над погромщиками, а над тридцатью шестью евреями – участниками самообороны. Вся эта эпопея хорошо и подробно рассказана писателем и ученым-этнографом Таном-Богоразом⁶. Она занимает целый томик в его собрании сочинений, вышедшем в издательстве «Просвещение». Мне кажется, книга Тана-Богораза называется «Гомельский процесс», хотя я и не убежден в том, что правильно помню название. Но эта книга очень хорошо рассказывает о Гомеле того времени – удивительно живом городе.

Второй погром был в 1905 году, вскоре после Октябрьского манифеста о конституции, – и был он одним из множества погромов, которые прошли по всей черте еврейской оседлости. Первый гомельский погром был особенным, потому что он произошел тогда, когда еще повсеместных погромов не было.

После 1905 года начались очень тяжелые годы реакции. К счастью, эта полоса была недолгой. Я думаю, уже к 1908 – 1909 годам

произошел перелом – началось большое, причем явно положительное оживление всей русской культуры и всей еврейской культуры. Я всех тех страшных лет реакции, по сути, не помню, потому что был тогда совсем еще ребенком. Но для Льва Семеновича годы подъема пришлось уже на его отроческие годы.

СЕМЬЯ ВЫГОДСКИХ*

Семья Выгодских была, пожалуй, самой культурной еврейской семьей в Гомеле. Отец Льва Семеновича – Семен Львович – был управляющим отделением Соединенного Банка в Гомеле и, кроме того, был представителем одной из страховых компаний. Человек он был очень умный. Причем ум у него был и глубокий, и ироничный. Я бы сказал, горько-ироничный. Для такого направления ума было достаточно оснований и достаточно материала в то время. Семен Львович был человеком твердого характера, но это не надо понимать так, что он был злым и недобрым человеком или еще что-либо в таком же роде. Наоборот.

В семье Выгодских было восемь человек детей. Несмотря на то, что у Семена Львовича была очень большая по тому времени семья, он систематически и в большой мере помогал семье своего покойного брата. Об этой семье я тоже немножко расскажу. К ней принадлежал двоюродный брат Льва Семеновича – Давид Исаакович Выгодский⁷, который был старше Льва Семеновича. Они очень дружили, и Давид Исаакович оказал на Льва Семеновича большое влияние. В то время всякий сколько-нибудь культурный, и даже малокультурный, человек, который думал не только о себе, стремился к какой-то общественной деятельности. Общественная деятельность тогда была, конечно, сильно затруднена. Больших возможностей для нее не было, но, может быть, именно поэтому каждый особенно старался найти для себя какую-то область общественной жизни, в которой он мог бы что-то делать. Семен Львович Выготский также нашел для себя применение – он был председателем Гомельского отделения Общества распространения просвещения среди евреев России⁸. Здесь опять сказались особенности его характера. Большая часть тех евреев Гомеля, которые могли заниматься общественной

или какой-то подобной деятельностью, занимались, главным образом, филантропической деятельностью. Было Общество вспомоществования бедным, была «Еврейская бар-мицва», были другие возможности. А Семен Львович выбрал для себя именно просветительское направление. Он был очень культурным человеком, несмотря на то, что официально не получил никакого диплома об образовании. По его инициативе Общество организовало в Гомеле прекрасную библиотеку.

Думаю, что мало в каком провинциальном городе была такая превосходная библиотека. И библиотекаря подыскали замечательного. Звали его была Х.Д. Горфункель, он был немножко и литератором. Это был человек, который умел и вести библиотечную работу, и помочь читателям. Так что библиотека, организованная по инициативе Семена Львовича, была очень большим и заметным явлением в жизни Гомеля. Мы оба – Лев Семенович и я – этой библиотекой пользовались очень широко.

Мать Льва Семеновича, Цецилия Моисеевна, была, в отличие от мужа, на редкость мягкая, даже, можно сказать, кроткая женщина. Она тоже была очень культурным человеком.

Я помню, что именно у родителей Льва Семеновича всегда на столе были последние номера литературных журналов. В их доме всегда много читали. Родители Льва Семеновича глубоко уважали друг друга. Думаю, что в то время это было далеко не частое явление. Может быть, отчасти и поэтому в семье Выгодских между родителями и детьми складывался тот характер отношений, когда не существовало противоположности поколений, когда родители были и авторитетны и близки детям. Мать Льва Семеновича хорошо знала немецкий язык, очень любила Гейне (в семье его всегда называли «Heine» – и это, действительно, правильно). Мне кажется, что именно от матери Лев Семенович унаследовал любовь к этому поэту.

Интересен был дом, в котором жили Выгодские. Этот дом находился на углу Румянцевской и Аптечной улиц (кажется, позже улица Румянцевская называлась Советской, а Аптечная – улицей Жарковского) и был построен еще во времена Румянцева: в нем и жил Румянцев. Потом в нем жила семья Выгодских, дом сохранился – я его видел после Второй мировой войны; может быть позже его надстроили. Таких зданий в Гомеле было всего несколько – два-три еще

* Об изменении Л.С. Выготским своей фамилии см. с. 33 данной книги.

сохранились. Двухэтажный, стены толщиной не меньше аршина, в нижнем этаже были помещения со сводами.

Квартира Выгодских была на втором этаже. Она состояла из пяти комнат: две огромные комнаты – столовая и спальня родителей; третья, чуть меньше, но тоже большая комната, в которой жили три старших дочери; две комнаты были длинные и узкие: в одной жили две младшие девочки, а в другой – трое мальчиков, в том числе Лев Семенович. У меня такое впечатление, что эти узкие комнаты были когда-то отгорожены от больших – во времена Румянцева все комнаты были большие, с очень высокими потолками.

Кроме того, к квартире примыкало большое помещение, в котором помещалось страховое агентство. В этом страховом агентстве работа происходила до какого-то непозднего часа, до двух или до трех часов дня, а в вечернее время и оно было в распоряжении детей – мы там очень часто устраивали всякого рода собрания. Если кому-то почему-либо хотелось посидеть отдельно от других, он уходил в помещение конторы.

В столовой был длинный стол, за которым могли размещаться все члены семьи. За вечерним чаем – был такой обычай в семье – всегда шли какие-нибудь разговоры. Младших детей за чаем обычно уже не было, приходил кто-нибудь из знакомых старших детей. Эта столовая – с самоваром и разговорами – тоже одна из черт обихода семьи Выгодских. У Льва Семеновича не было отдельной комнаты. Может быть, именно поэтому разговоры за чайным столом и разговоры в помещении страховой конторы были какой-то заменой отдельной комнаты.

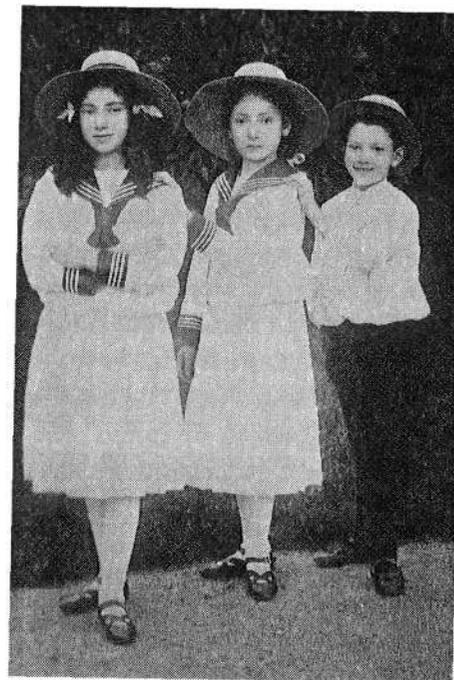
Был в доме балкон. Он выходил на Румянцевскую улицу и на бульвар. Вид на зеленый бульвар был очень приятным, и поэтому дети всегда охотно сидели на балконе. Внизу, на первом этаже, под балконом было крыльцо – каменное, с чугунными старинными скамьям. Став старше, мы любили сидеть на этих чугунных скамьях, я об этом еще расскажу.

Среди восьмерых детей Выгодских самой старшей была сестра Хая (Анна Семеновна), Лев Семенович был вторым, третьей была Зина (Зинаида Семеновна)⁹ – вот с этими тремя старшими я и был особенно близок. Совершенно естественно, что с младшими у меня было меньше контактов.

Лев Семенович очень любил своих сестер и братьев. После смерти от туберкулеза своего младшего брата Додика (в 1918 или 1919 году) Лев Семенович подарил матери книгу рассказов Бунина с такой надписью (цитата из Б. Зайцева): «Дни идут за днями от одной туманной бездны к другой. В них мы живем. А отошедшие – с нами».

КРУЖОК ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ

Лев Семенович был на три года старше меня. Как началось наше знакомство? Моя сестра Фаня (мать Иосифа Моисеевича Фейгенберга) и сестра Льва Семеновича, Зина, поступили в гимназию одновременно, учились в одном классе и с первого дня гимназической жизни очень подружились, как оказалось – на всю жизнь. У них возникла, когда они уже были примерно в классе четвертом или пятом, мысль организовать кружок по изучению еврейской истории. В то время национальный вопрос был очень большим и острым – и их желание было совершенно естественным. В этот кружок должны были входить несколько девочек из их класса, а руководителем кружка они попросили быть Льва Семеновича, которому тогда было лет 15. Я был на три года моложе Льва Семеновича, на 2,5 года моложе моей сестры и остальных участниц кружка, но так как моя сестра была инициатором этого дела, то,



Фаня, Ксения и Сеня Добкины. Фаня и Сеня – члены кружка по изучению истории

конечно, меня в кружок тоже приняли.

В сущности, мы занимались не столько изучением еврейской истории, сколько философией истории. Прагматическая история мало интересовала Льва Семеновича. Я думаю, что она мало интересовала и его слушателей. А вот что такое история, что такое нация, что делает людей нацией – такие вопросы были более интересны.

Кружок существовал около двух лет. В 1912 году Выготский окончил гимназию, уехал учиться в Москву, и кружок фактически прекратил свое существование. Может быть, когда Лев Семенович приезжал в Гомель на каникулы, а иногда и задерживался на дольше (тогда ведь студенты не обязательно должны были посещать лекции, так что, случалось, они задерживались) – бывали отдельные собрания кружка, но, по сути дела, систематической работы уже не было.

Несмотря на то, что Льву Семеновичу было тогда 15 лет (16 лет – самое большее), он вел кружок настолько замечательно, настолько удивительно, что об этом стоит немножко рассказать.

На первой встрече он сделал вступительный доклад, и было решено вести занятия, как мы бы сказали сейчас, семинарским способом. Были намечены темы, которые распределили между участниками кружка. По каждой теме Лев Семенович предварительно беседовал с докладчиком, на заседании кружка делал небольшое вступление. После доклада – вопросы, прения и заключительное слово руководителя кружка. Я помню по себе, как интересно было с ним работать, как интересно было вести с ним разговор перед своим докладом! Должен вам сказать, что когда я поступил в Московский университет и участвовал в работе семинара Густава Густавовича Шпета¹⁰, то меня поразило сходство между этим семинаром и нашим кружком. А ведь Лев Семенович начал руководить кружком, когда еще не был студентом, он еще не был даже гимназистом. (Я об этом скажу несколько позже.) Ему не у кого было перенять опыт таких занятий, просто потому, что в Гомеле не было какого-либо учебного заведения, похожего на университет. Если его старший двоюродный брат, Давид Исаакович, что-нибудь и рассказывал о Петербургском университете, то это тоже могли быть лишь очень ограниченные рассказы. Я думаю, что он этот метод нашел сам.

У меня было такое впечатление, что кружок заставляет и его работать, что он не просто ведет занятия как преподаватель, а что од-

новременно сам для себя находит материал, который должен изучить, продумать. Именно «продумать» – может быть, это слово больше подходит, потому что, повторяю, проблемы, которые мы обсуждали, были не столько исторические, сколько историко-философские: вопрос о том, что такое нация и что делает нацию нацией; вопрос о том, что такое история – наука или искусство; вопрос о том, какова роль личности в истории. В то время эти вопросы не могли быть уже решены Львом Семеновичем. Я думаю, что он одновременно и учил, и сам учился.

Что еще в нем сказывалось уже в то время это, я бы сказал, диалектический подход к знанию, диалектический подход к решению мировоззренческих вопросов. Он тогда уже увлекался Гегелем. «Тезис – антитезис – синтез» – этот гегелевский метод уже тогда казался ему правильным путем для размышления и познания.

Уже в то время он понимал историю именно как философию истории. Например, один из трудных вопросов еврейской истории связан с тем, что делает нацию нацией, каковы признаки нации. Обычно считалось, да и до сих пор считается: территория объединяет людей в нацию, язык объединяет людей в нацию, религия объединяет людей в нацию, государственный строй. Но ни один из этих признаков не годится для понимания того, что собой представляет еврейский народ как нация. Лев Семенович считал, что нацию образует общность исторического прошлого. Мне кажется, что мысль эта очень глубокая. Историческая общность судеб – вот что превращает людей в нацию.

Я думаю, что Лев Семенович серьезно готовился к занятиям кружка, даже не сомневаюсь в этом. Наверняка, он сам много думал о теме занятий и многое осмыслил перед тем, как те или другие темы развивать. Думаю, что этот кружок дал очень многое не только нам, его рядовым участникам, но и самому Льву Семеновичу. Основной след в науке он оставил как психолог. Но, по сути, Лев Семенович был мыслителем, в самом полном и лучшем смысле этого слова. В каком-то смысле он был мыслителем-историком. Думаю, что исторический подход к любой проблеме был для его мышления характерен. В занятиях кружка это очень ясно проявилось.

Какими источниками мы пользовались в кружке? Обсуждая проблемы нации, мы за все время не вышли из библейского периода – и в какой-то степени первоисточником была Библия, но научными

источниками были, с одной стороны, «История евреев с древнейших веков до настоящего времени» Генриха Греца (это 12-томное издание, перевод с немецкого), а с другой стороны – книга Жозефа Эрнеста Ренана «История израильского народа». Оба автора стояли на совершенно противоположных позициях. Для Греца история продолжалась на протяжении тысячелетий; для Ренана история кончалась с приходом в этот мир Христа. На заседании, когда рассматривался вопрос о роли личности в истории, мы обращались к книгам Толстого и к работам Карлейля¹¹.

Диалектичность и историзм, сохранившиеся у Льва Семеновича на всю жизнь, уже тогда были ярко выражены.

Может быть, именно благодаря тому, что мы с ним познакомились в кружке, разница в возрасте (три с половиной года – 11,5 и 15 лет – это огромная разница!) не мешала нашим разговорам и беседам. Лев Семенович, конечно, был для меня старшим, а вместе с тем мы с ним очень легко разговаривали на любые темы, которые были мне интересны. Я всегда мог задать ему любой интересующий меня вопрос, а часто он вводил в наши разговоры и свои темы.

Я знал Льва Семеновича и раньше, но наше настоящее, близкое знакомство – это знакомство по кружку. В кружке доклады делали именно участники, а Лев Семенович только направлял. Мы с ним советовались перед докладом, и потом, после докладов, он делал какое-то заключение, – и все это превращалось в настоящее, глубокое общение. Причем так как главной нашей темой была философия истории, то, естественно, разговоры уходили в самые разные стороны от частной темы того или иного доклада.

Выступления Льва Семеновича были всегда очень яркими – в его речи часто встречались повторы, он почти всегда давал не один эпитет, а два, которые усиливали значение, он два раза повторял одну и ту же мысль, пользуясь разными словами, и все получалось крепче. Мне представляется, что здесь сказывается в какой-то степени библейский стиль. В Библии этот прием «параллелизма» очень широко применяется. В частности, у пророков, во всех пророческих речах он всегда звучит. Мне представляется, что может быть, это было и неосознанно, но навеяно детским и отроческим восприятием Библии – и все это сказилось также на взрослом стиле Льва Семеновича.

Я вспоминаю заседание кружка, на котором обсуждался вопрос о Библии и вавилонском влиянии. За несколько лет до этого немецкий ученый профессор Делич¹², на основании своих раскопок в Ва-

вилоне выдвинул теорию о том, что Библия – это не оригинальное еврейское учение, что библейский закон – повторение вавилонских норм. Эта точка зрения неправильна. Какое-то влияние могло быть, но иудаизм довольно далек и от вавилонской морали, и от вавилонской этики, и от вавилонского миропонимания. И вот Лев Семенович как раз именно об этом и говорил тогда на заседании кружка. Так что, я думаю, одним из философских корней мировоззрения Льва Семеновича был иудаизм.

Кружок по еврейской истории Выготский начал вести или накануне поступления в 7-й класс гимназии, или уже одновременно с поступлением. Скорее всего, это было именно одновременно, потому что, сколько я помню, кружок продолжал работать около двух учебных лет. То есть – 7-й и 8-й классы. До 7-го класса Лев Семенович занимался не в гимназии, а дома.

ГИМНАЗИЯ

В Гомеле было две гимназии: правительственная, или, как ее называли тогда, «казенная гимназия», и частная еврейская гимназия Ратнера¹³. Всего в тогдашней России было пять – шесть таких еврейских гимназий. Атмосфера в казенной гимназии была довольно тяжелая, неприятная. Может быть, в какой-то степени даже и антисемитская. Во всяком случае, я помню, что когда я был в подготовительном классе, то умудрился получить годовую оценку по поведению «четверка» – это было равносильно двойке по любому другому предмету. Помню, что я со слезами на глазах просил своих родителей, чтобы меня забрали из гимназии. Родители мне объяснили, почему надо учиться в гимназии, и я уж как-то прошел гимназический курс. А Лев Семенович в гимназии не учился.

Для того чтобы поступить в казенную гимназию надо было выдержать четыре экзамена на все пятерки. Для Льва Семеновича это не могло представлять никакой трудности, он был с детства настолько способным мальчиком, что тут не могло быть речи о каких-либо трудностях. Но, я думаю, родители не хотели отдавать его в гимназию, считая, что там и дух не тот, и времени он потеряет много зря. В гимназию Ратнера его не хотели отдавать, может быть, потому, что и она по своему оборудованию, и по всему прочему тоже была не на очень высоком уровне (иначе и быть не могло в то вре-

мя). Лев Семенович занимался дома с учителем, сдавал экстерном за четыре класса, потом экстерном за шесть классов, а вот после шести классов ему уже пришлось поступить в гимназию Ратнера с тем, чтобы последние два года все-таки пробить уже в гимназическом русле, иначе экзамены на аттестат зрелости экстерном были бы трудными.

Я думаю, что у Льва Семеновича был дома замечательный учитель. Ему не нужен был просто элементарный учитель. Но тот учитель, какой у него был, наверное, многое ему дал. Это был Соломон Маркович Ашпиз, по образованию математик, которому, однако, не удалось окончить университет. Он был исключен из университета за участие в студенческих, как тогда говорили, беспорядках. И не только исключен, но и сослан в Сибирь. Ашпиз был человек на первый взгляд немножко медлительный, немножко ушедший в себя, а вместе с тем, когда он был в Сибири, для того чтобы встретиться с товарищем, тоже ссыльным, но сосланным в другое место, он прошел пешком шестьсот верст. Так что медлительность Соломона Марковича была только внешней оболочкой. Я как сейчас помню рассказ о его разговоре с отцом. Отец уговаривает его бросить революционное движение «К чему это тебя приведет?» Разговор шел на еврейском языке. Он отцу отвечает: «Дир арт фар самарер гоним? (то есть: «У тебя болит душа за самарских крестьян?») А у меня болит».

Несмотря на то, что он не окончил университет, его математические знания были очень глубоки. Он знал и все остальные предметы, во всяком случае, гимназический курс был для него вполне открыт. Ашпиз вел занятия и по курсу латыни, которую очень любил. Жил он уроками.

Соломон Маркович занимался педагогической работой особого рода. В те годы было очень распространено так называемое репетиторство. Если какие-нибудь дети не очень хорошо усваивали гимназический курс, приглашали репетиторов, которые натаскивали учеников. Соломон Маркович Ашпиз был человеком совсем другого склада. Ему отдавали только самых способных детей, с тем чтобы он их развил еще больше. И среди своих самых способных учеников он называл двоих. Вот его слова: «У меня было двое способных учеников – Беба Выготский и Фаня Добкина». «Беба» – это домашнее имя Льва Семеновича, так его в детстве называла няня, и это нянино имя

осталось при нем на всю жизнь, близкие до конца жизни называли его Беба.

Занятия с Соломоном Марковичем проходили так: сперва он что-то объяснял – вполголоса, медленно, почти без интонаций. Но слушать то, что он рассказывает, было всегда очень интересно. Потом наступал черед ученика – надо было ответить то, что было задано на предыдущем уроке. Соломон Маркович слушал нас, не перебивая, закрыв глаза или оттачивая остро карандаши. Порой казалось, что он дремлет, может быть даже уже заснул. Но это только казалось. Как только вы кончали рассказ, он открывал глаза и задавал два-три вопроса – как раз те два-три вопроса, которые были связаны с двумя-тремя может быть и небольшими, упущениями, которые вы сделали во время рассказа. Причем вопросы задавались почти всегда в такой форме, чтобы вы на них ответили как на свои собственные вопросы, чтобы вы о них задумались. И сейчас же ученику становилось ясно, почти как будто без помощи Соломона Марковича, в чем он, ученик, ошибался.

Это умение пробудить в ученике живую мысль было у Соломона Марковича замечательное. Мне тоже пришлось учиться у Ашпица, и я все испытал на себе. Думаю, что и Льву Семеновичу такие занятия тоже очень многое дали.

После того как был пройден курс шести классов, Выготский попал в гимназию Ратнера и последние два года заканчивал в гимназии. Надо вам сказать, что ситуация была довольно сложная. В первых, Лев Семенович воспитывался в почти исключительно женском обществе. Две сестры – одна немного старше, другая немного моложе, кружок, в котором единственным мальчиком был я, остальные все – девушки возраста сестер. Лев Семенович был очень дружен с Зинаидой Семеновной, той сестрой, которая и была вдохновителем создания кружка. И с самой старшей из детей – сестрой Анной Семеновной (Хасей) Лев Семенович очень дружил. Обе сестры были замечательными людьми. Это было такое соединение благородства и женственности, какое редко приходилось встречать.

Попасть из «женской атмосферы» в общество молодых людей седьмого класса, в общество юношей этого возраста, наверное, было нелегко. Лев Семенович должен был бы чувствовать себя среди них в какой-то степени чужим. А вместе с тем он сразу же занял в гим-

назии, что называется, свое место, сразу же к нему установилось, я бы сказал, уважительное отношение, и учителя и товарищи сразу очень оценили его. В гимназии Ратнера уровень учеников был довольно высокий. Но среди этих учеников Лев Семенович явно выделялся, поэтому и гимназисты и учителя относились к нему хорошо – все понимали, что это человек недюжинных способностей. Это было видно сразу.

В те годы группа студентов и группа учеников гимназии Ратнера (их называли «ратники») организовали в Гомеле небольшой литературный журнал на русском языке. Он назывался «Заветы» и печатался в типографии. Выходил этот журнал в 1911 - 1913 годах – я думаю, один-два года не больше. Авторами были, в основном, гимназисты. Тираж – несколько сотен экземпляров. Я не помню в этом журнале ни одной статьи Льва Семеновича. Вместе с тем я не сомневаюсь в том, что там такие статьи были, и думаю, что стоило бы поискать в библиотеках этот журнал и посмотреть, нет ли там каких-нибудь статей Выготского, может быть, под каким-то псевдонимом. Думаю, что, несмотря на псевдоним, его статьи всегда можно узнать по теме, и по материалу, и по характеру языка.

Я уже говорил, что я на три с половиной года моложе Льва Семеновича. Казалось бы, когда мне было двенадцать, а ему пятнадцать, или мне тринадцать, а ему шестнадцать, разница между нами должна была быть как будто очень велика, но дружба сестер так



Давид Выгодский. 1910-е гг.

сблизила обе семьи, что она перешла в дружбу родителей, а потом в дружбу между остальными детьми, и фактически у нас с Львом Семеновичем было много общих интересов и помимо кружка. Один из этих интересов связан с собиранием марок – почти повальным детским увлечением и сейчас, и тогда. Само собирание марок, конечно, чрезвычайно интересное занятие. Но в нашем случае на него наслоилося еще одно обстоятельство. Оно связано с двоюродным братом Выготского – Давидом Исаа-

ковичем. Он был старше Льва Семеновича – очень глубокий человек, замечательный лингвист, филолог. Он был человеком очень широкой мысли, прекрасной души, большого ума и глубоких знаний, не только ученый, но и любитель поэзии и сам немножко поэт.

Давид Исаакович дружил с Виктором Шкловским¹⁴ и Романом Якобсоном¹⁵. О нем очень хорошо вспоминала Маризетта Шагинян¹⁶ в своих автобиографических записках. Думаю, что, будучи очень не рядовым человеком, он оказался одним из тех, кто оказал большое влияние на Льва Семеновича.

Давид Исаакович в те годы учился в Петербургском университете на филологическом отделении и был близок к группе, которая называлась ОПОЯЗ¹⁷ – «Общество изучения поэтического языка». Самым ярким представителем этой группы был Виктор Шкловский, самым талантливым представителем – наверное, Роман Якобсон. Из остальных участников назову Эйхенбаума¹⁸.

Давид Исаакович был эсперантистом. Эсперанто по идее должен был стать международным языком для научного общения, а может быть и для другого общения, но фактически получилось так, что в значительной степени эсперанто превратилось в язык молодежного общения – обмена марками, открытками и тому подобными вещами. У эсперантистов была определенная система: в каждом городе, где были эсперантисты, выбирался (так называлось на эсперанто) «делегито» – делегат, что-то вроде уполномоченного. Давид Исаакович был «делегито» в Гомеле. Список уполномоченных, этих самых «делегито», со всего мира ежегодно издавался в виде отдельного томика. Как сейчас помню эту книжечку в зеленой обложке.

Через Давида Исааковича мы с Львом Семеновичем тоже общались к эсперанто и к обмену марками. Так как Давид был уже на много старше меня, я его до этого почти не знал. только шапочно был знаком – следовательно, увлечение эсперанто и марками перешло от Давида к Бебе, от Бебы ко мне.

Мы затевали переписку с эсперантистами из других городов, находили их адреса по этой книжечке, и таким образом у нас на увлечение филателией наслоилося еще увлечение эсперанто, и для нас эсперанто и марки, вместе взятые, как-то открыли мир, географический мир. Я сейчас расскажу немножко о том, что не имеет прямого отношения к Льву Семеновичу, но в какой-то степени показывает ту атмосферу, в которой проходили эсперантистские увлечения.

Я помню, Лев Семенович выбрал себе первым корреспондентом юношу-исландца. Его заинтересовал скандинавский север. Я же решил выбрать корреспондента-итальянца. Мне хотелось немножко приблизиться к Возрождению. Я подумал, что лучше выбрать корреспондента из Тосканы. Не из Флоренции (мне казалось, что это будет уже что-то более современное). Я решил найти корреспондента из Сиены, написал сиенскому «делегито» письмо и получил от него через несколько времени ответ, в котором он спрашивал меня о том, кто я такой и что собой представляю. Я ответил, что я гимназист четвертого класса, а через некоторое время получил ответ уже от другого эсперантиста. Ответ примерно следующий: «Мой учитель, аббат такой-то и такой-то, думает, что я буду для вас более подходящим корреспондентом, чем он». Это был мальчик моих лет, и мы с ним очень хорошо переписывались.

Второго корреспондента я выбрал в далекой Новой Зеландии. Я написал ему и получил ответ такого характера, что он просит меня иметь в виду, что письма от него часто будут приходиться с опозданием. Дело в том, что он капитан парохода, который курсирует между Австралией и Индией. И если письмо придет в то время, когда он в рейсе, он его, конечно, получит с опозданием. Несмотря на то, что он был капитаном, а я – гимназистом, наша переписка шла очень хорошо, и на следующий год он написал мне, что ему предстоит особый рейс – в Лондон. От Новой Зеландии это далеко, но от России совсем недалеко, и он приглашает меня приехать в Лондон с ним познакомиться. Я страшно этим делом загорелся, мне очень захотелось с ним повидаться, но примерно к этому времени началась Первая мировая война. Думаю, что и без Первой мировой войны я тоже не попал бы в Лондон, но, во всяком случае, война точно помешала.

Вся атмосфера эсперантизма, очень широкое общение со всем миром, по-моему, оказали заметное влияние на Льва Семеновича. По крайней мере, на меня это оказало большое влияние, поэтому я думаю, что и для него наше увлечение марками и эсперанто не прошло бесследно.

Второе, что нас объединяло, – шахматы. Теории тогда не знали, играли только по своему умению и соображению. Давид Исаакович любил шахматы, и Лев Семенович любил и хорошо играл, но не увлекался ими как-нибудь свыше меры. Что Выготский любил уже с

отроческих лет – это стихи и театр. И эта любовь у него осталась на всю жизнь.

Я вам говорил о том, что у нас с Львом Семеновичем темой бесед, как правило, были мировоззренческие вопросы. А вместе с тем иногда прорывалось что-то совершенно подростковое. Ну, например, однажды мы разговаривали, кажется, об одной из пьес Шоу, и речь зашла о кодексе английского джентльмена. И вот Лев Семенович мне говорит: «Какие у англичан правила чести? Человек попал в чужой город, он остановился в гостинице, спутал свой номер, открыл другую дверь, и там, в комнате, дама переодевается. Как перед ней извиниться? Надо сказать: «Извините, сэр». Вот это будет правильное извинение».

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ

В 1913 году Лев Семенович окончил гимназию. Экзамены были так называемые «депутатские». В частных гимназиях на экзаменах, которые сдают на аттестат зрелости, должен был присутствовать депутат – представитель учебного округа. Обычно это был кто-нибудь из преподавателей казенной гимназии. Они относились к частным гимназиям с некоторым предубеждением, в какой-то степени даже с ревностью: «А как у вас проходят? – А как у нас проходят?» Экзамены были очень трудные. Как правило, они кончались в конце июня. В это лето мы и Выгодские жили на даче, в Белице, тогда пригороде Гомеля. Теперь это уже часть города.

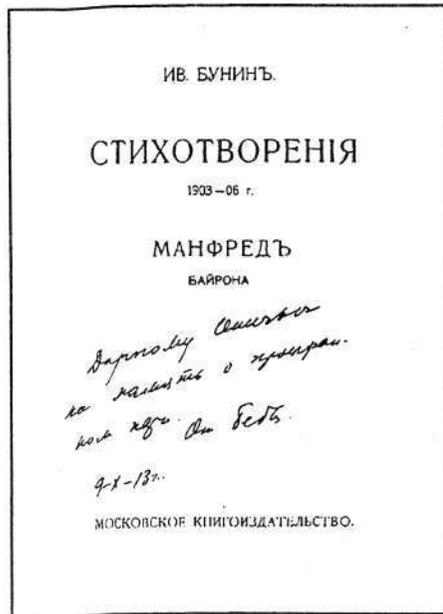
Льву Семеновичу осенью должно было исполниться 17 лет. В то время порядок поступления в высшее учебное заведение был такой: для евреев была процентная норма. В большинстве учебных заведений была пятипроцентная норма, а в Московском и Петербургском университетах – трехпроцентная. Поэтому, для того чтобы еврею наверняка поступить в университет, нужно было окончить гимназию с золотой медалью. Если вы кончали с серебряной медалью (если была хотя бы одна четверка – это лишь серебряная медаль), вы могли поступить, а могли и не поступить, в зависимости от того, как сложится конкурс. Ну, а без медали рассчитывать на поступление в высшие учебные заведения евреям не приходилось. Лев Семенович, конечно, шел на золотую медаль, и это не должно было представлять никакого труда. Но именно в то время, когда он сдавал депутатские

экзамены на аттестат зрелости, произошло следующее: министр народного просвещения Кассо издал циркуляр, по которому абитуриенты-евреи должны были приниматься в высшие учебные заведения не по конкурсу аттестатов, а по жеребьевке. Смысл этого нововведения заключался в том, чтобы в высшие учебные заведения поступали не более способные еврейские юноши, а обычные, рядовые, которые себя в дальнейшем ничем не проявят.

Как сейчас помню – я зашел на дачу к Выготским, мы сидим на крыльце, и Лев Семенович показывает мне газету, которая пришла в этот день, и в которой было сообщение об этом циркуляре министра. Лев Семенович говорит: «Ну теперь мне куда хода нет». Меня это страшно взволновало – мне казалось настолько несправедливым лишать Льва Семеновича возможности поступить в университет, что я совершенно искренне сказал: «Это чудовищно несправедливо и этого не может быть. Ты, Беба, попадешь в университет!» Он очень любил пари. «Хочешь пари?» – говорю я. «Хочу». – «На что?» – «На хорошую книгу». – «Ну, хорошо». Вот мы и заключили такое пари.

Я думаю, Льву Семеновичу было очень трудно держать экзамены,

после того как он узнал, что поступать в университет придется не по конкурсу аттестатов, а по жеребьевке. Но несмотря на то, что это было трудно, он не сорвался, а с прежним вниманием продолжал относиться к экзаменам и, конечно, свою золотую медаль получил. Настроение у него было невеселое, и настроение во всей семье было такое же, да и чего можно было ожидать. Но все-таки он подал, конечно, свои документы в Московский университет, причем, по настоянию родителей на медицинский факультет. Тогда считалось, что самая обеспеченная профессия для



Книга И. Бунина, подаренная Л. Выготским в 1913 г. С. Добкину.

еврейского молодого человека – это профессия врача. Как моя мама говорила, врач – это «брейт мит крупник», то есть всегда будет иметь на хлеб и крупяной суп. За несколько дней до начала учебного года получают Выгодские от своих друзей из Москвы телеграмму, что Лев Семенович по жеребьевке принят в университет – то есть произошло почти невероятное! В тот же день он подарил мне на память книгу стихов Бунина с надписью: «Дорогому Сеничке на память о проигранном пари. От Бебы. 9.X.13г.» Думаю, что Лев Семенович никогда больше так не радовался проигранному пари, как в тот раз.

Через несколько дней Лев Семенович уехал в университет, а еще через две или три недели он увидел, что медицина все-таки никак не может его заинтересовать, и перешел на юридический факультет, который его тоже не очень интересовал. Юридический диплом, конечно, давал ему возможность какой-то карьеры, адвокатской например, но его больше интересовали совсем другие вопросы. Одновременно с поступлением в Императорский университет, Выготский начал учиться в Народном университете имени Шанявского¹⁹, на историко-философском отделении.

Хотя университет Шанявского был «народным» это было настоящее высшее учебное заведение в полном смысле этого слова, причем свободное, вольное. Каким образом получилось, что Университет имени Шанявского стал настоящим большим университетом? Произошло это следующим образом.

Кажется, в 1911 году в Московском университете начались студенческие волнения. Тогда существовало, или, может быть, правильнее сказать в какой-то степени существовало, понятие университетской автономии. В связи с этой автономией властям не полагалось вводить в университет полицейских. А по настоянию министра Кассо в Московский университет были введены полицейские, жандармы. Тогда студенты объявили забастовку. После этого несколько сотен студентов были исключены из университета. Протестуя против нарушения университетской автономии и массового исключения студентов, многие профессора и преподаватели Московского университета ушли из него. Большая часть из них нашла приют именно в Университете имени Шанявского, и среди них такие выдающиеся ученые, как Чаплыгин²⁰, Жуковский²¹, Сакулин²². Одним словом, весь цвет московской профессуры ушел именно в университет Ша-

нявского. Лев Семенович на протяжении нескольких лет одновременно учился в обоих университетах.

Прежде чем рассказать о Выготском в студенческие годы, хочу сказать о двух его увлечениях. Хотя это были просто увлечения, это было нечто гораздо большее – даже не знаю, как назвать. Страсть – это не то слово. И увлечение – не то слово. Поэзия и театр. Стихи и театр. В Гомеле постоянного театра не было, но на летнее время приезжала труппа, которая давала спектакли в помещении летнего театра. Труппа была неважная всегда, конечно, но, может быть, один или два артиста попадались интересные (Орленев²³, Каминская²⁴). И вот, несмотря на невысокий класс и гастролирующих трупп, и самого театра, Лев Семенович не пропускал ни одного нового спектакля. Думаю, что причиной служило еще и то, что он время от времени писал рецензии на эти спектакли. Я думаю, что если в гомельских газетах, начиная примерно с 12-го по 16-й год посмотреть, то, наверное, можно будет найти не одну его рецензию, а они всегда были интересными.

В Москве, конечно, его пристрастие к театру еще больше возросло и получило настоящее удовлетворение. Первый театр, который он полюбил, был Московский художественный. В те годы это была настоящая школа жизни. Такие спектакли, как «Бранд» Г. Ибсена, как пушкинский спектакль «Маленькие трагедии», как «Братья Карамазовы», «Николай Ставрогин», действительно, заставляли о многом задуматься. «Гамлет» глубоко интересовал Льва Семеновича еще с гимназических лет. Еще в те годы Лев Семенович начал писать этюд, очерк о «Гамлете», который он потом назвал «читательской критикой». Я как сейчас помню тетрадь, в которой велись эти записи. Но он никому не показывал их – не только мне, но и своим близким. В 1915 году, то есть уже после того, как он увидел «Гамлета» в постановке на сцене, он этот этюд дописал до конца. В 1916 году этот этюд был написан в другой редакции (напечатана именно вторая редакция), но сохранилась и первая. Мне представляется, что эта работа в значительной степени автобиографическая – в ней Лев Семенович выразил себя самым открытым и полным образом. В дальнейшей научной работе все его труды не могли иметь такого личного характера, и на мой взгляд, очень интересно изучить, а может быть и издать, и первый вариант «Гамлета». Я думаю, что он сохранился в архиве Льва Семеновича и находится сейчас у его

дочери – Гиты Львовны. У меня вообще такое впечатление, что в этом архиве можно найти многое из того, что нам неизвестно. Может быть, когда я говорю «много», я преувеличиваю, а может быть и нет, но кое-что там, наверняка, найти можно.

У Льва Семеновича написано два этюда о «Гамлете» – один 1915 - 1916 годов, а другой как глава в «Психологии искусства»²⁵. Так вот, я думаю, что полнее всего причина интереса Льва Семеновича к «Гамлету» видна из того этюда, который опубликован как отдельная работа.

В «Психологии искусства» разбираются три вида литературных произведений: басня, новелла и трагедия. Басня совершенно вывернута наизнанку. В басне оказывается дело не в морали, а совсем в другом. В нашем издательстве «Века и Дни» (о котором я расскажу позже) должна была выйти небольшая книжка Выготского, которая называлась «Похвала ослу». Это был как бы остов последующей его работы о басне.

Как образец новеллы Лев Семенович выбрал «Легкое дыханье» Бунина²⁶, которую он очень любил, и этот том, в котором «Легкое дыханье» (рассказы 1912 - 1916 гг.), считал лучшим. Это, действительно, было лучшее из того, что Бунин к тому времени опубликовал. А «Легкое дыханье» – пожалуй, в этом томе самый лучший рассказ, несмотря на то, что там есть и более как будто яркие вещи, вроде таких, как «Господин из Сан-Франциско». Действительно, «Легкое дыханье» – это совершенно особая вещь, в ней очень хорошо показано, как искусство преодолевает материал. Это основная идея Выготского.

Третья часть – это, в сущности говоря, философия трагедии. И здесь видно, что трагедия, в понимании Льва Семеновича, занимается, если можно так сказать, вопросами потусторонними, что истоки трагедии, корни ее – не в этом мире, трагедия не может быть объяснена ни логически, ни каким-либо другим способом. Это было сказано в первом варианте этюда о «Гамлете». Но я думаю, что во всех вариантах это осталось. Может быть, позднее Выготский эту мысль как-то ослаблял, потому что человек меняется – ведь годы идут, и они что-то привносят: другая эпоха, другое понимание чего-то. Но самое первое понимание «Гамлета» как трагедии необъяснимой, непостижимой у него было с юных лет, и поэтому ему «Гамлет» был

так дорог. Действительно, ни в одной другой шекспировской трагедии такого покрова тайны на произведении нет. Возьмите «Короля Лира» – там как-то понятно, что к чему идет; «Ромео и Джульетта» – понятно, что к чему идет, «Макбет» – понятно, «Шейлок» – понятно. А «Гамлет» – безусловно, какая-то особая материя. Возможно, тут есть и какой-то элемент случайности, может быть, если бы, в то время как Лев Семенович об этих вещах думал, ему попался бы не «Гамлет», а какая-нибудь другая такая же темная, непонятная, «алогическая» вещь, может быть, тогда именно она, и заинтересовала бы его, но так сложилось, что попался именно «Гамлет». В конце концов, произведений ранга «Гамлета», если можно так выразиться, не так много в литературе, так что не так много вещей могло бы ему попасться. Но я себе вполне могу представить, что если бы ему попались в тот момент «Бесы» Достоевского, то Николай Ставрогин ему показался бы не менее алогичным. Я думаю, что, может быть, из Достоевского это самое алогичное. В комментариях к «Гамлету» Выготский вспоминает Достоевского.

В 1915 году в Москве появился новый театр – Камерный, которым руководил Таиров²⁷. Это был театр совсем другого склада, совсем непохожий на Художественный театр, конечно, в значительной степени связанный с символизмом, а может быть, и вообще с другим пониманием того, что собой должен представлять театр по сравнению с теорией Станиславского. Лев Семенович очень увлекся Камерным театром. В особенности большое впечатление произвела на него постановка пьесы Иннокентия Анненского «Фамира – кифаред»²⁸.

С театром были связаны и некоторые московские знакомства Выготского. Он сблизился с Николаем Эфросом²⁹ – в то время, пожалуй, крупнейшим из московских театральных критиков. Через Николая Лев Семенович познакомился с Абрамом Эфросом³⁰, художественным критиком. Благодаря ему, Лев Семенович познакомился и с живописью Гогена, и с книгой Гогена «Ноа-ноа», и с творчеством Марка Шагала, которое на него произвело огромное впечатление. Во всяком случае, я помню его рассказы и о Гогене, и о Шагале, произведения которых я тогда еще не мог видеть. Он говорил о них как об очень крупных явлениях искусства.

Вторая большая страсть Льва Семеновича – это стихи. Сколько я его помню в гомельские годы, всегда, даже в разговоре, он вспоминает какие-то стихи, читает их. Читал замечательно. Любая пауза в разговоре – и он читал стихи. Он никогда не делал это громко, всегда – тихо, вполголоса, почти как бы про себя, а вместе с тем замечательно выразительно.

Я бы сказал так, что для Льва Семеновича окончание гимназии и поступление в университет – это большой этап: конец гомельской жизни, выход из достаточно узкого круга в более широкий мир.

Классической философией Выготский занимался очень много и очень много в этой области сделал. До конца жизни он работал над книгой о Спинозе³¹, но не успел ее закончить. П.Я. Гальперин опубликовал в журнале «Вопросы философии» отрывок из этого труда – раздел о Декарте – замечательный философский труд³². Замечательный! На мой взгляд, П.Я. Гальперин очень хорошо сумел нащупать в этой незаконченной вещи самые главные идеи Льва Семеновича, сумел их так подчеркнуть, чтобы они стали более ясными. Спиноза интересовал Выготского с ранней юности. И иудаизм. Под иудаизмом часто разумеют еврейскую религию, а часто – иудейскую философию, иудейское мировоззрение. Последнее мне представляется более правильным. И вот мне кажется, что Спиноза, который был отлучен от сефардской общины, был в действительности очень ярким и глубоким представителем иудаизма. Я уже говорил, что, по моему мнению, одним из корней мировоззрения Выготского является иудаизм. Иначе это и быть не может. Думаю, что национальность каждого человека очень многое определяет. Национальность высокоталантливого человека определяет еще больше, национальность человека, о котором В.В. Иванов сказал – «с чертами гениальности» (я не хочу ничего усиливать), еще больше определяет.

Выготский получил неплохое еврейское образование. В то время было принято в еврейских семьях мальчикам и даже девочкам (девочкам в меньшей степени, а мальчикам в довольно большой степени) давать еврейское религиозное образование. В большинстве случаев это носило характер клерикальный, узкий. Смысл был следующий: надо было подготовить мальчика к тому, чтобы он мог по субботам или по праздникам молиться в синагоге, потому что, когда он вы-

растет, надо же все-таки в праздники ходить в синагогу – в общем, так, чтобы он имел какое-то знакомство с еврейской религией.

Обычно учителя этих еврейских молитв (их называли ребе или меламед: ребе – это было что-то такое более высокое, чем меламед) были людьми малообразованными, неглубокими знатоками еврейской культуры и даже религии. Льву Семеновичу в этом смысле повезло. Он занимался с очень хорошим, образованным и в общем, и в еврейском смысле человеком. Могу это сказать, потому что я тоже с этим человеком занимался и знаю, как он умел ответить – интересно, содержательно – на каждый вопрос, который возникал у нас.

В 13 лет у евреев наступает религиозное совершеннолетие. Этот день называется бар-мицва. «Бар» – это сын, «мицва» имеет несколько смыслов: в бытовом языке это «доброе дело», а в буквальном смысле это – «долг»; первое значение «мицва» – это долг. Значит, «сын долга», «сын доброго дела», то есть человек, который за себя отвечает. Считается, что с этого дня мальчик уже ответственен реально за свои поступки. До этого времени за него перед Богом отвечают его родители. В этот день полагается, чтобы в торжественной обстановке мальчик произнес речь. По-еврейски это называется «дроша» – буквальный перевод это именно «слово», «речь». Обычно эту речь составляет ребе, учитель, и мальчик ее только выучивает и читает. Речь произносится на иврите, или, как тогда говорили, на древнееврейском. Лев Семенович сам составил эту речь. И отлично справился с этой задачей. Тема его была не клерикальная, а, я бы сказал, историко-моральная.

Лев Семенович хорошо знал Библию. Я думаю, что философские книги Библии были для него значительным явлением. Иначе и быть не могло: ну как Книга Иова может быть незначительна для человека, который ее хотя бы один раз прочел? Иначе же быть не может. Как «Притчи Соломоновы» могут быть незначительными для человека, который хоть раз их прочитал? А Лев Семенович их прочитал.

Я уже говорил, что Выготский очень любил стихи. Первым любимым поэтом был Пушкин. Но стихи, которые он особенно любил, были не те стихи, которые обычно нравятся. Я не помню, чтобы он читал, например, любовную лирику Пушкина. А вот такие стихи, как «Сцена из Фауста» («Мне скучно, бес») или «Маленькие трагедии», его глубоко волновали. А из «Маленьких трагедий» больше всего – «Пир во время чумы». Как он умел найти самое главное! Вот

вы помните, как начинается «Моцарт и Сальери»? «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма». Дальше идет большой монолог, он продолжается и весь связан, но Лев Семенович на этом месте ставил точку. Дальше он не читал. Это было самое важное. Именно такая философская поэзия его интересовала даже в Пушкине. Вы помните у Пушкина «Подражание Корану», «Стамбул гяуры нынче славят»? Вот эти вещи ему очень нравились. Из чистой лирики я помню – но это уже в более позднее время, уже в студенческие годы – стихотворение «К жене», которое при жизни Пушкина не публиковалось. Оно начинается словами «Нет, я не дорожу...» Как-то мы с Львом Семеновичем говорили о том, что делает искусство. И Лев Семенович говорит: «Вот смотри, в стихотворении этом – он мне сразу его прочел, а читал он прекрасно, – точное описание полового акта, но ты посмотри, как искусство сделало все это одухотворенным и совсем другим».

В общем, он особенно любил вещи, которые, скорее, относятся к философской поэзии.

Второй любимый поэт Льва Семеновича – Блок³³. Что Лев Семенович любил у Блока? Особенно ему нравились «Стихи о прекрасной даме», «Итальянские стихи» («Строен твой стан, как церковные свечи...»), «Девушка пела в церковном хоре...», «На железной дороге», «Незнакомка», «О доблести, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле...». «Роза и Крест» произвела на него очень большое впечатление. Как сейчас помню, как он читает:

*Всюду беда и утраты,
Что тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди.
Ревет ураган,
Поет океан,
Кружится снег,
Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег.*

Ему всегда было достаточно небольшого отрывка. В этом отрывке для него все уже было сказано, остальное он мог уже и не чи-

тать дальше. «Итальянские стихи» – это тоже философские стихи. В них трагические мотивы особенно сильны. Я уже говорил о том, что Льву Семеновичу нравилось у Пушкина. Я думаю, что в этом сказало его мирозерцание, которое, с моей точки зрения, конечно, было трагическим, оно уже тогда сложилось в какой-то степени.

Потом Тютчев³⁴. Самое любимое одно из последних тютчевских стихотворений:

*Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескучеющая сила,
Есть и нетленная краса,
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!*

Какое у вас впечатление? Я прочитал все стихотворение? На самом деле, в стихотворении есть еще две строфы. Но последние две строфы – это обращение к женщине, которой стихотворение посвящено. Эти строфы совсем неплохие, но они, как бы вам сказать, не добавляют ничего главного, и Лев Семенович этих двух последних строф никогда не читал. Для меня было открытием, когда я увидел в книге Тютчева еще эти две строфы.

Это характерно для Выготского: ему ничего лишнего не нужно было. Из монолога Сальери – первые две строчки. И дальше – опять ничего. Из «Каменного гостя» одна строчка: «Вдова должна и гробу быть верна!» И вот так, даже иногда какой-то одной строчкой Лев Семенович, выражал свое отношение к вещи. В «Пире во время чумы» – песня Мери.

Немного позже самым дорогим и близким для него поэтом стал Иннокентий Анненский. И опять хочу вам прочитать одно стихотворение, пожалуй, самое любимое им.

*Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки бродят по дому,
Тут же рядом иная среда,
Где живем мы совсем по-другому?
С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.*

.....
*Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.*

Он умел находить у поэтов замечательные строки, даже у поэтов, которые, казалось бы, не должны были быть ему близкими или были вообще не очень талантливы.

Например у Саши Черного³⁵ – чудесного поэта-сатирика – Лев Семенович любил его совсем не сатирическое стихотворение «Больному». А на самом деле это, может быть действительно самое глубокое и лучшее из того, что Саша Черный написал:

*Есть горячее солнце, наивные дети,
Драгоценная радость мелодий и книг,
Если нет – то ведь были, ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...*

Николай Гумилев³⁶. Ранние романтически-экзотические его произведения мало трогали Льва Семеновича. Но вот драматическая поэма «Гондла», навеянная исландскими сагами, была уже ближе ему. (О его интересе к скандинавскому северу я уже говорил.) А сборник стихов «Огненный столп», вышедший уже после расстрела Гумилева, был с любовью прочитан Львом Семеновичем. Он часто читал строки из стихотворения «Шестое чувство»:

*Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,*

*Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.*

*.....
Так, век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.*

Был поэт, совсем небольшой и сейчас совершенно забытый, – Константин Липскеров³⁷. Лев Семенович очень любил некоторые его стихи.

*Всех спешу полюбить,
Ибо все преходяще и тленно.
Всех спешу полюбить,
Ибо люди проходят как сон.
Ты врага обними –
Пусть вражда отлетает мгновенно:
Как обнимешь его,
Если скажут, что он погребен?*

Еще один отрывок из Липскерова:

*Я был владыкой милости и страха,
От рыб до лун мой простирался стяг.
Передо мной склонялся гордый враг
И ждал жезла прощающего взмаха.
И вот на диком острове я наг,
И я безвестней жалкого феллаха.
Да, как песок меж пальцами Аллаха,
Проходят дни и почестей и благ.*

Как видите, Лев Семенович всегда находил философские стихи.

Был в то время поэт очень красивых, но не очень глубоких стихов. Это Виктор Гофман³⁸. У него есть замечательное стихотворение о встрече Нового года, такое фантастическое, которое кончается словами:

*Я наполню свой кубок сверкающий
И забуду, что я живой.
Я один на земле умирающий,
Всем ненужный и всем чужой.*

Клюев³⁹ это уже немножко позже, это уже в первые годы революции. У Клюева есть стихотворение о том, как «Мать – Пресвятая Богородица по всей земле ходила, все дома посетила, в одно село пришла». И в этом селе ее встретили недружелюбно. Тогда за нее заступился пророк Илья:

*Гневлив пророк Илья.
По облачной дороге
На огненной телеге
Помчался он в тревоге.
У коней в вольном беге
По грому на ноге.*

Эта картина грозы Льву Семеновичу казалась замечательной, и мне тоже кажется, что она, действительно, превосходна. Из Клюева ему очень понравилось: «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах».

Пастернака⁴⁰ он знал позже, и Маяковского⁴¹, и Есенина⁴² – но думаю, что Есенин и Маяковский его не очень увлекали.

В первый год революции появилась «Мистерия-буф» Маяковского. И вот из «Мистерии-буф» Льву Семеновичу очень нравилось: «Кому – бублик, кому – дырка от бублика, – это и есть демократическая республика». Но вообще Маяковский был довольно далек от него.

А Пастернака он очень любил. Пастернака и Мандельштама⁴³. Причем из Мандельштама у него есть даже замечательная цитата, на самом деле замечательно созвучная самому Выготскому. Она, по моему, взята эпиграфом к одной из глав в «Мышлении и речи»⁴⁴.

Лев Семенович очень хорошо понимал и ценил настоящую художественную литературу. Я уже говорил, что ему особенно нравилась книга Бунина – рассказы 1912–1916 годов. Большое впечатление на него произвел роман Андрея Белого⁴⁵ «Петербург». Он считал, что, ко времени появления этой книги, это – самое крупное, самое значительное произведение из русских романов XX века. Думаю, что это мнение тоже было глубоко выношенным.

ПУТЬ К ПСИХОЛОГИИ

Как пришел Выготский к психологии? Мне представляется, что Лев Семенович был прежде всего – мыслителем. В полном смысле этого слова. И психология – только частная область, в которой он себя как мыслитель проявил. Вернемся немножко назад. Двумя писателями, которыми он особенно интересовался, были Лев Толстой и Федор Достоевский. Толстой, главным образом, в связи с его философией истории, а Достоевский – ну, понятно, чем Достоевский был. Пожалуй, особенно у Достоевского для него были важны две книги – «Идиот» и «Бесы». В «Бесах» его совершенно не интересовали те, кого Достоевский называл «бесами», а интересовал, конечно, только Николай Ставрогин. В «Братьях Карамазовых» – «Легенда о Великом Инквизиторе».

В связи с этим Льва Семеновича привлекала книга Розанова⁴⁶ о Великом Инквизиторе. Причем он считал, что в тот момент, когда книга была написана, она уже отошла от автора, и этот совершенно ничтожный и подлый человек – Розанов – для него не существует, а существует действительно замечательная книга. Я до сих пор не могу понять, как такую книгу такой человек мог написать. Повторяю: у Выготского интерес к философии сохранялся все время, он кончил историко-философское отделение в университете имени Шанявского, причем блестяще кончил.

И все-таки, я думаю, что его занятия психологией начались с Достоевского. Думаю, что такой глубокий анализ, вернее, – такое углубленное исследование психической жизни людей, причем экстремальной жизни, конечно, захватывал Льва Семеновича, для него Достоевский был очень важным и значительным мыслителем, а не только писателем.

Кстати, по этому поводу могу еще сказать, что Достоевского в какой-то степени мне было трудно читать. И до сих пор трудно. Думаю, что Льву Семеновичу по той же самой причине в определенной степени читать Достоевского тоже было трудно – у Достоевского почти в каждом крупном произведении, я не говорю уже о его публицистике, а говорю лишь о литературных произведениях, – почти в каждом! – есть какая-нибудь попытка унижить евреев.

Вот, например, в «Преступлении и наказании» – площадь, где стоит пожарная каланча. Свидригайлов вынимает револьвер и хочет там застрелиться. К нему подбегает дежурный пожарник – им оказывается еврей, – и говорит, коверкая русские слова, примерно так: «А-зе, сто-зе вам и здесь на-а-до? А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здесь не места!» Это «а-зе здесь не места!» совершенно, как бы вам сказать, для сюжета это не требуется, этого не нужно! Достоевский все-таки не удержался и ввел пожарника-еврея, несмотря на то, что это никак не вяжется с реальностью. В Петербурге евреи не имели права жительства, за исключением евреев, имевших высшее образование, или каких-нибудь петербургских первой гильдии купцов, которых было очень немного, и там такой полуграмотный еврей не мог появиться. А если бы он появился каким-нибудь чудом, то он бы не был пожарником, а был бы кем-нибудь другим. Не подходит этому слабому физически народу трудная работа пожарника. Не подходит. Тем не менее Достоевский не удержался. Ну, так здесь – пустячок, в других местах хуже.

Вместе с тем Достоевский не хотел, чтобы его считали антисемитом. Он получал письма от своих читателей-евреев, которые спрашивали его, откуда у него этот антисемитизм, что это такое? И вот одному из них, Ковнеру⁴⁷, он ответил, что он совсем не враг евреев, но что евреи за сорок веков истории сделались «статус ин статус», то есть государством в государстве, и настолько замкнулись, что у них свой особый мир. Достоевский подчеркнул, что к нему приходят евреи и еврейки и советуются с ним и т.д. Лев Семенович написал, я думаю, еще в гимназические годы (осталась синенькая школьная тетрадка, исписанная мелким почерком) статью^{*}, в которой он тоже пытается объяснить, что на самом деле Достоевский не был антисемитом. Эта статья сохранилась. Она, с моей точки зрения, неубедительна, но это неважно. Важно то, что Лев Семенович хотел это доказать, что ему это было важно.

Достоевский был, может быть, первый человек, который разбудил в нем глубокий интерес к психологии, подтолкнул его. Ведь Выготского продолжали интересовать проблемы, которые были и философскими, и, в еще большей мере, психологическими, – вопрос о

^{*} Эта статья включена в настоящее издание (Ред.)

смысле жизни, о том, что в жизни ценно, о ценности искусства, о том, как искусство преображает мир и людей.

Это уже, конечно, путь к психологии. Но было и еще несколько книг, которые Льва Семеновича глубоко заинтересовали и тоже, наверное, в какой-то степени определили направление его научной деятельности. Первой из них, конечно, было «Многообразие религиозного опыта» Джемса⁴⁸. Лев Семенович прочитал ее с большим интересом – это уже было в его студенческие годы. Он обычно оставался в Гомеле некоторое время и после студенческих каникул. Потом он эту книгу мне передал. Я ее прочитал, и меня она несколько удивила странным набором материала. Незадолго до этого я прочитал книгу Герье о Франциске Ассизском⁴⁹, о том, что у Франциска так сильны были мысли о муках Христа, что у него появились стигматы. Написана книга Герье очень убедительно. Но в ней очень много материала связано с такими людьми, как Блаватская⁵⁰, Анни Безант⁵¹. Это люди наверняка очень сомнительные в смысле их религиозного опыта. И мне захотелось узнать, что же здесь правда, а что неправда. Я спросил у Льва Семеновича, как он считает, и меня удивил его ответ. Он ответил примерно так: что может быть так, а может быть и не так. То есть, несмотря на то, что мы относимся к спиритам как к шарлатанам, может быть, тут что-то и есть. Я сперва даже подумал, что он просто не хочет со мной на эту тему подробнее говорить, а потом убедился в том, что это действительно во многих трудных случаях его точка зрения: что может быть так, а может быть и этак. А то, что у Франциска могли появиться стигматы, в этом он не сомневался.

Лев Семенович уехал в Москву, а я достал курс психологии Джемса⁵², мне хотелось познакомиться с этой областью. Меня в прочитанной книге поразили те вещи, которые, конечно, сейчас уже никого не удивляют, а тогда казались парадоксальными: что, например, летом мы научаемся кататься на коньках, а зимой – плавать и т. д. Когда Лев Семенович вернулся, я с ним на эту тему поговорил. Оказалось, что и он тоже за это время прочитал курс психологии Джемса и тоже обратил внимание на эти вопросы, но ему в то время показались не парадоксальными, а действительно обоснованными. Например, это самое знаменитое утверждение, что мы не потому плачем, что нам грустно, и не потому смеемся, что нам весело, а на-

оборот – нам грустно потому, что мы плачем, и весело потому, что мы смеемся.

Вторая книга, которая глубоко заинтересовала его, это «Психопатология обыденной жизни» Фрейда⁵³. Я помню его точку зрения, когда мы обсуждали с ним эту книгу: вообще говоря, в основном все действительно так, как написано у Фрейда, но вытеснение происходит и в других областях. Эти две книги до сих пор знамениты и пользуются широкой известностью.

Третья книга – «Философия искусства» Христиансена⁵⁴ – нынче уже почти забыта. Но я думаю, что если ее и теперь перечесть, то в ней найдется много нового и «хорошо забытого» старого. Мне представляется, что взгляды Выготского на искусство в большой мере были созвучны именно Христиансену.

В студенческие годы Лев Семенович написал целый ряд статей, которые были опубликованы в различных изданиях, иногда очень крупных, авторитетных, вроде горьковской «Летописи», иногда в изданиях мелких. Думаю, что в эти годы им написано также большое количество театральных рецензий. Они рассеяны, их, наверное, собрать трудно, но, мне представляется, это было бы очень полезно и интересно. Среди его рецензий есть много таких, в которых Лев Семенович себя очень ясно выразил, без оглядки на научную достоверность, на научную убедительность. Это человеческие документы в какой-то степени, и очень жаль, если они так и останутся несобранными. Несколько слов об этом есть, как мне помнится, в предисловии В.В. Иванова к «Психологии искусства».

Подписывал ли Лев Семенович свои рецензии и статьи псевдонимами? Думаю, – да, и могут быть различные варианты подписи.

Кстати, об отношении Выготского к своей фамилии. В начале революции он немного изменил ее. Фамилия его семьи – Выгодские, но он заменил «д» на «т». Причем он говорил, что сделал это не потому, что «Выгодские» связано со словом «выгода», а потому, что Выготово – это та деревня или местечко, из которой происходит его семья. И я думаю, что он действительно так считал. Не знаю, насколько это правильно. У него в подписи могли быть и инициалы, могли быть какие-то псевдонимы. Но я думаю, что его легко узнать по стилю. «Человек – это его стиль», и к Выготскому это вполне приложимо.

В университете Лев Семенович очень ярко проявил себя с первого же года. На юридическом факультете преподавались предметы, как будто бы не очень ему близкие, в частности политическая экономия. Но на первом же курсе его доклады на семинаре по политической экономии выделялись – настолько, что он об этом писал большие письма родителям, хоть вообще не был склонен преувеличивать свои успехи, и ему это было, по сути дела, совершенно не нужно, потому что все само за себя говорило. Письма родителям, кстати, свидетельствуют о том, что отношения с ними продолжались даже на почве научной, или, скорее, учебно-научной.

В Москве Лев Семенович в первые два года учебы жил один. Когда он перешел на третий курс, году в 1915, приехала его сестра Зинаида Семеновна. Она училась на курсах Герье⁵⁵, и они жили вместе. Тут они еще больше сдружились, и, может быть, не случайно. Пожалуй, из великих мыслителей прошлого для Выготского самым близким был Спиноза, а Зинаида Семеновна тоже занималась Спинозой – это была ее дипломная работа в университете. Начинала она учиться на курсах Герье, а кончала уже после революции в университете. Ей даже предлагали написать кандидатскую работу о Спинозе. Еще среди философов Лев Семенович очень глубоко понимал и любил Гераклита. И хотя от Гераклита⁵⁶ осталось совсем немного – отдельные слова, отдельные фразы – а вместе с тем, может быть, во всей истории философии ничего подобного по глубине не было.

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ

В 1917 году Выготский окончил университет. Это было через несколько месяцев после Февральской революции. Конечно, Февральская революция произвела на всех огромное впечатление – иначе и быть не могло. В первые месяцы после революции Лев Семенович написал несколько брошюр, в которых излагались взгляды не его, а различных революционных политических партий. Я не знаю, были ли эти книги подписаны его фамилией или каким-нибудь псевдонимом. Я из них читал только одну – «Чего хотят эсеры?», но он написал таких несколько. У меня осталось такое впечатление, что эта брошюра написана очень объективно, в ней не было критики, а лишь изложение самой платформы. Наверное, эти несколько бро-

шюр тоже представляют интерес, но я не знаю, удастся ли их когда-нибудь найти. А жаль будет, если они пропадут.

Я думаю, что революцию Выготский очень приветствовал. Хотя, по сути дела, политика его не интересовала. Мне кажется, что после университета Лев Семенович несколько месяцев провел в Самаре. Не знаю, с чем это было связано, но там работал кто-то из его гимназических преподавателей, и он пробыл в этом городе несколько месяцев. Я об этом вспоминаю только потому, что, вероятно, в каких-либо самарских газетах того времени, наверняка, тоже были какие-нибудь его статьи, может быть типа театральные рецензии или что-то в таком же роде. А его театральные рецензии – это шедевры. То, что называется «словам – тесно, мыслям – просторно».

Через несколько месяцев он приехал в Гомель. Осенью 1917 года произошла Октябрьская революция. После нее Лев Семенович из Гомеля не уезжал. Время тогда было очень беспокойное, особенно на окраинах. Недалеко от Гомеля были белополяки, тоже недалеко, на Украине, – всякие банды и т.д. В такое смутное время, когда можно было всего ожидать, Лев Семенович не хотел оставлять свою семью. Это совершенно естественно. Через несколько месяцев, после того как в Брест-Литовске прошли ничем не закончившиеся переговоры, началось немецкое наступление, немцы заняли Гомель. Это было примерно уже в феврале-марте 1918 года. Немцы организовали на Украине марионеточное гетманство с гетманом Скоропадским во главе, и Гомель, хотя никогда к Украине не относился, они тоже присоединили к Украине. В Гомеле появились и какие-то украинские власти, и немецкие войска. В этой обстановке Льву Семеновичу, конечно, было очень трудно найти свое место, потому как никакого подходящего дела для него и быть тут не могло.

Здесь надо сказать, что в семье Выгодских была склонность к туберкулезу. Туберкулез был у матери и у самого Льва Семеновича, туберкулезом заболел и его младший брат Додик, которому было тогда 7 – 8 лет. Врачи посоветовали провести климатическое лечение, и мать решила поехать с Додиком в Крым. Лев Семенович не хотел отпускать их одних, и поехал вместе с ними. Они доехали до Киева, а в Киеве поняли, что в сложившейся обстановке в Крым ехать не следует. Несколько месяцев Лев Семенович провел в Киеве с матерью и братом. Там он познакомился с Ильей Эренбургом⁵⁷, молодым, начинающим поэтом бунтарского типа. Они очень со-

шлись. Вторым человеком, с которым Лев Семенович сблизился в Киеве, был Маковельский⁵⁸. Он был значительно старше Выготского и к тому времени уже сделал большое дело – вышли два тома его «Досократиков». В Киеве Лев Семенович мог бы познакомиться и со Львом Шестовым⁵⁹. Я думаю, что Шестов еще в юношеские годы оказал большое влияние на Выготского – наверное, это началось с книги «Шекспир и его критик Брандес». Эта книга понадобилась Выготскому, вероятно, для этюда о Гамлете, а уж если Шестова что-нибудь прочитаешь, то, конечно, захочется прочитать и все остальное. И вот такие книги Шестова, как «Добро и зло в учении графа Л.Н. Толстого и Ницше», или «Достоевский и Ницше», или «Творчество из ничего» (это замечательная статья о Чехове), я думаю, оказали в юношеские годы на Льва Семеновича очень большое влияние. Однако с Шестовым он не познакомился, но какой-то контакт через общих знакомых у них появился.

Я думаю, что в киевских газетах или журналах того времени тоже можно найти что-нибудь, написанное Выготским. Но об этом никогда у нас разговора не было, и я боюсь утверждать это наверняка. Хотя, мне кажется, что это так, я просто не знаю, что там надо искать и где, но попытаться, наверное, стоит.

Итак, Лев Семенович вернулся в полунемецкий-полуукраинский Гомель. Делать ему там было совершенно нечего, его внутренняя энергия не могла найти никакого выхода. Для меня – я только кончил гимназию – это время не было потерянным, потому что я продолжал заниматься самообразованием, а что было делать ему? Все, что он знал, далеко выходило за пределы гомельской обыденности того времени. Приложить свои знания он не мог. Это было очень тяжелое для него время. Именно тогда вокруг него собралась небольшая группа молодых людей его возраста или немножко старше, среди них были Эля Фейгенберг, Боря Цырлин. Но они были людьми не очень для него подходящими, нельзя было их назвать его друзьями. Это были приятели. Рассказывая о доме Выгодских, я говорил, что на крыльце первого этажа стояли чугунные скамейки. На этих чугунных скамейках бывало, мы сиживали всей компанией и вели разговоры на самые разные темы, не всегда даже очень интересные. Мы называли себя «чердачок», потому что иногда собирались и в мезонине дома. И казалось, что этому не будет конца, потому что немцы продолжали побеждать на западном фронте. Казалось,

что вот-вот немцы на Западе одержат верх, а тогда и на Востоке, быть может, они пойдут дальше.

Но тут произошел совершенно никем не ожидавшийся поворот в войне. Английские танки, которые держались в большом секрете, – никто не знал об этом новом оружии (само слово «танк» значит «цистерна» – это были большие баки, которые доставлялись на фронт), в один прекрасный день без всякого предупреждения, безо всякой подготовки были брошены в бой, прорвали немецкие линии фронта, и через несколько месяцев боев Германия должна была уже капитулировать. В Германии произошла революция. Революция, конечно, сказалась и на нашем фронте, немцы должны были поспешно оставить и Белоруссию, и Украину, и все захваченные земли. В Гомель вернулась Советская власть. Лев Семенович, Давид Исаакович и я стали школьными работниками (тогда это сокращенно называлось «шкраб»). Лев Семенович и Давид Исаакович работали в общей школе, а я служил в школе Днепровской военной флотилии. Они преподавали литературу. Школьные занятия были в значительной степени интересны. Я могу судить по себе. У меня это был первый опыт преподавательской работы; я только кончил гимназию и еще в университет не поступил, а мои слушатели, мои ученики были матросами. Но такого интереса к истории, я бы сказал, живого интереса, жизненного интереса, какой был у этих молодых ребят, я потом не встречал у своих студентов ни в одном учебном заведении. Думаю, что и Льву Семеновичу, и Давиду Исааковичу тоже было интересно преподавать, но, может быть, для них занятия все-таки были менее интересны.

Конечно, даже преподавание литературы и истории не могло вполне удовлетворить Льва Семеновича. И тогда, при его непосредственном и близком участии, в Гомеле был организован Педагогический техникум. Конечно, Педагогический техникум – это такое учебное заведение, в котором для настоящей философии места нет, но для психологии есть. И Лев Семенович вел там именно психологию. Хотя все-таки всем нам чего-то не хватало, всем нам этой преподавательской работы было мало.

«ВЕКА И ДНИ»

И вот тут у меня появилась мысль организовать в Гомеле издательство. Появилась она не случайно. Молодые люди моего круга до-

вольно рано начинали интересоваться такими вопросами, как смысл жизни, что нужно делать, и т.д. И вот в 1915 или 1916 году, когда я еще был, по сути дела, подростком, в журнале «Русская мысль» появился переведенный с английского языка роман, который назывался «Ричард Ферлонг». Автора я не помню. Герой этого романа – художник, который выбирает лучшие книги, которые ему особенно нравятся, сам их иллюстрирует, сам набирает, печатает и таким образом создает художественную книгу в полном смысле этого слова. На меня это обстоятельство произвело огромное впечатление. Там, в романе, есть и романтическая интрига, и герой погибает из-за своей неудачной любви, но меня заинтересовала именно издательская сторона дела.

Через много лет, когда я уже всерьез сам стал заниматься издательскими делами, я понял, что, в сущности говоря, прообразом для героя того романа был Уильям Моррис⁶⁰ – замечательный английский художник, писатель и издатель конца XIX века, который сделал очень много для книжного искусства и влияние которого, наверное, и сейчас еще продолжает сказываться не только в Англии, но и во всем мире. На меня тогда это произвело огромное впечатление, и я решил, что, когда стану взрослым, тоже буду заниматься издательской деятельностью. В те годы в России уже было одно замечательное издательство – издательство М. и С. Сабашниковых. Было оно не коммерческого, а просветительского типа. И даже больше, чем просветительского. Это меня еще больше укрепило в мысли о профессии, связанной с публикацией книг. И вот тогда, в Гомеле, мне показалось, что я уже достаточно взрослый, а Лев Семенович тоже самый подходящий компаньон и товарищ для такого дела, тем более что он явно не находит места для приложения своих сил, и я поделился с ним своими намерениями – вот, мол, давай организуем издательство. Лев Семенович загорелся. Единственное, что он сказал: «Надо привлечь Давида».

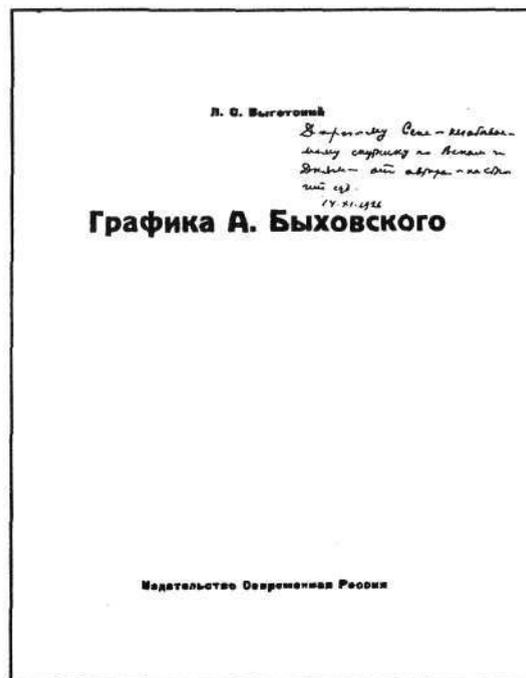
Тут я вам еще немножко расскажу о Давиде Исааковиче. Я уже раньше говорил о том, что это был очень талантливый лингвист и поэт, причем его любимой поэтической формой было двустишие. У него была целая тетрадь замечательных двустиший. Я одно запомнил:

*Тихая девушка ночью, утром – встающее солнце,
Днем изнурительный труд, вечером – книги и чай.*

Я уже говорил о том, что он был эсперантистом и делигито-эсперантистом. Это был человек без каких-либо бытовых, я бы сказал, предрассудков. Например: в 1918 – 1919 годах не было обуви, и он летом ходил босиком по городу. Его совершенно это не смущало, и это не смущало никого. Кто-нибудь другой пошел бы без обуви – это казалось бы экстравагантным, а может быть и неприличным, а Давид ходит без обуви – это ни у кого не вызвало никаких отрицательных эмоций.

Давид тоже к моей идее отнесся с большим интересом, и вот мы втроем решили организовать издательство. Что мы будем издавать? Во-первых, лучшие творения мировой литературы, это нам дороже всего. Во-вторых, современное – это нам тоже дорого. Как назвать наше издательство? Нашли замечательное, по-моему, для этого название – «Века и Дни». Марку для нашего издательства нарезал на линолеуме гомельский художник Николай Романович Остапец. Она изображала сфинкса, на котором сидит мотылек, – века и дни. Разрешений, мне помнится, никаких не нужно было. Тогда допускались даже частные и кооперативные издательства. Мы решили, что наше издательство будет кооперативным. Денег для этого почти никаких тоже не нужно было, потому что и бумагу, и типографские работы – нам все давали в кредит с тем, что, когда выйдет книга, ее тут же у нас покупает «Союзпечать», или, как в Гомеле это называлось, «Полеспечать», и мы расплатимся за все работы. Но самое важное было другое.

Когда мы обсуждали план нашей работы, мы, действительно, прошли по всем векам и дням и обсудили такой широкий круг интересовавших нас вопросов, не ограничиваясь художественной литературой, что для меня это было событием огромного значения, и в моем становлении эти беседы сыграли очень большую роль. Но я думаю, что и для Льва Семеновича, и для Давида Исааковича они тоже были очень важны и интересны. В этом, кстати, меня убеждает и надпись Льва Семеновича на одной книжке.



Книга Л. Выготского "Графика А. Быховского" с дарственной надписью С. Добкину. 1926 г.

Через семь лет после образования нашего издательства «Века и Дни» Выготский подружился в Гомеле с художником Быховским и написал о нем небольшую книжку⁶¹. В 1926 году эта книжка вышла, он подарил мне экземпляр с такой надписью: «Дорогому Сене – незабываемому спутнику по Векам и Дням от автора на строгий суд. 14 ноября 1926 г.». Значит, через семь лет после «Веков и Дней» он о «Веках и Днях» помнил, именно

понимая наше издательство как путешествие, в котором я был его спутником.

Как нам начать работу? Решили, что прежде всего привлечем к работе нескольких современных авторов – литератора Михаила Осиповича Гершензона⁶², поэта Валерия Брюсова⁶³, философа Льва Шестова (все они тогда были в Москве). Кроме того, Выготский хотел привлечь к работе Илью Эренбурга и Александра Маковельского. Им он сейчас же написал, и от них очень быстро пришли ответы. Эренбург прислал книжку своих стихов, которая недавно вышла и называлась «Стихи о России». Он хотел, чтобы мы ее издали под другим названием – «Огонь». Таких горячих стихов, как эти, у Эренбурга больше никогда не было. Вспомню некоторые отрывки. Там есть стихотворение «Хвала смерти» – о Каине после убийства Авеля:

*И большие не хотело ни биться, ни роптать
 Его темное, косматое сердце.*

Стихотворение с эренбургской иронией:

*Каменщики пели: мы молоды,
 В небо уйдем, что нам стоит?
 В наших сердцах столько золота,
 На горе новый город построим.*

А потом, когда город построили и в нем поселились люди и пришли другие люди, которым негде было жить, оказалось:

*Наш город так мал, у нас всего 500 зал:
 Сто зал, чтобы вздыхать поутру,
 Сто зал для чтения персидских лириков,
 Сто зал, чтобы пить шато д'икем.*

А для важных дел места нет. Книжка была, действительно, замечательная. После этой книжки Давид Исаакович предложил издать стихи французского поэта греческого происхождения – Мореаса⁶⁴. Этот поэт – полная противоположность Эренбургу, неумная радость жизни.

Издательское дело нас интересовало и само по себе. Когда книги набирались, мы целые дни проводили в типографиях. Директор одной типографии Григорий Михайлович Нейман, человек очень живой, быстрый, нас всех очень хорошо знал – в Гомеле неудивительно было знать друг друга. Он, немножко богемный человек, был редактором нескольких гомельских газет. Мы ему мешали работать, но он с большим удовольствием отрывался от работы, для того чтобы нам обо всем рассказывать, и пересыпал свои рассказы шуточками, вроде: «Что вы маленькими не удавились? Вы бы мне не мешали работать!» А когда я позднее стал заниматься издательскими делами в большом масштабе, я вспомнил все то, что он нам рассказывал, и очень благодарен ему до сих пор. Это мой первый учитель в типографском деле.



Обложка книги И. Эренбурга. 1919 г.

Нам казалось, что мы сумеем очень многое сделать. Дело заключалось в том, что недалеко от Гомеля, в местечке Добруш, находилась писчебумажная фабрика княгини Паскевич. Поэтому в Гомеле была бумага. Как вы увидите, наши планы оказались нарушенными.

Когда две книги у нас уже вышли, мы решили, что все-таки надо связаться и с московскими желательными для нас авторами. Лев Шестов выразил согласие участвовать в нашем издательстве, но ничего конкретного для публикации не предложил. Маковельский прислал ответ совершенно поразительный. Он был

написан в виде старинной грамоты: «Льву Семеновичу Выготскому от Маковельского» – все это было выписано каллиграфическим шрифтом, как в каких-то старинных грамотах, и текст в таком же духе – немножко приподнятый, патетический. Он нам предложил следующий выпуск «Досократиков».

Время от времени у меня были командировки в Москву за учебниками для школы Днепровской военной флотилии. Пришла очередная моя командировка, и было решено, что во время нее я постараюсь связаться с Гершензоном и Брюсовым. Кроме того, у нас был еще план издать избранные произведения Пушкина. Но для этого, по тогдашним правилам, нужно было разрешение Госиздата (он был организован только в 1919 году). Свои командировочные дела с учебниками я довольно быстро сделал, и мне предстояло повидаться с Гершензоном и Брюсовым. Может быть, это не имеет прямого отношения к Выготскому, но, с другой стороны, это показывает, как к нашей идее издательства «Века и Дни» относились люди, которых мы хотели привлечь. Поэтому я об этом расскажу немного подробнее.

Михаил Осипович Гершензон жил в Никольском переулке на Арбате, теперь это Плотников переулок. Он жил в двухэтажном деревянном флигеле во дворе. Я пришел в этот довольно ветхого вида домик, поднялся на второй этаж. Спрашиваю Михаила Осиповича. «Он скоро должен прийти, подождите его». Меня проводят в мезонин, где был кабинет Михаила Осиповича. Там я его и ждал. Примерно через полчаса я услышал быстрые шаги по деревянной внутренней лестнице. Дверь открывается, быстро входит человек небольшого роста, немножко всклокоченные седые волосы, уже чуть лысоватый, в очках. Я рассказал ему, по какому я делу. Когда я дошел до того места, что в нашем издательстве согласился сотрудничать Лев Шестов, он вскакивает со своего стула, становится на другой стул, снимает со стены фотографию. «Мой лучший друг!» – и показывает мне фотографию Шестова. Одним словом, Гершензон тоже будет с нами сотрудничать. Пока он еще не может сказать, что именно нам предложит, но что-то он нам даст. Надо вам сказать, что в 1915 году вышла одна из самых замечательных книг Гершензона, которая называлась «Мудрость Пушкина». Смысл этой книги примерно такой, что все, что люди хотят сделать, не получается, а когда они доверяются судьбе, все получается. Лучший пример – это «Метель» Пушкина. Когда люди хотят пожениться, это им не удается; когда люди потом не могут пожениться, потому что они давно поженились с другими, чужими людьми, то оказывается, что это они сами и есть. Гершензон тоже



Спасибо Филиппову Вадислу 2/10/14
от дочери М.О. Гершензона в качестве
подарка и благодарности за помощь
в книге.
Н. Семенович

М.О. Гершензон. Фотография подарена С. Добкину дочерью Гершензона

М.О. Гершензон. Фотография подарена С. Добкину дочерью Гершензона

относился к числу тех мыслителей, которые на Выготского, конечно, оказали большое влияние.

После этого мне надо было повидаться с Валерием Брюсовым. Он тогда заведовал Книжной палатой⁶⁵, которая размещалась на Новинском бульваре, в доме 6, – в одном из самых прекрасных московских ампирных особняков, построенном, кажется, Бове⁶⁶. К сожалению, этот дом был разрушен немецкой бомбой в начале Великой Отечественной войны. Но это был дом замечательной красоты.

Я прихожу туда к концу дня. Это примерно позднее лето или ранняя осень. Дом освещен солнцем, дверь открыта, я захожу – никого нет. Все помещения, комнаты, лестницы, коридоры уставлены штабелями книг. Это все старинные книги, по-видимому, свезенные из дворянских усадеб. И никого не вижу. Мне очень интересно посмотреть хоть немножко книги, но я могу смотреть их только немного, потому что мне все-таки надо найти Брюсова. Я иду все дальше и



В.Я. Брюсов. Портрет работы М.А. Врубеля. 1906 г.

дальше, и, наконец, слышу какой-то шорох, кто-то в соседней комнате есть. Я открываю дверь – у высокого стола типа так называемой конторки стоит Брюсов, совершенно с врубелевского портрета, в точности. Причем портрет я видел, а Брюсова вижу в первый раз. Поэтому у меня впечатление, что Брюсов именно сошел с портрета. Он одет в какой-то щегольский костюм, и хотя этот щегольский костюм сильно потерт уже, но изящество брюсовское остается. Я ему начинаю рассказывать о наших издательских планах. Он меня слушает с большим вниманием, и когда я под конец говорю ему, что вот единственное только нас смущает,

что у нас тиражи сравнительно небольшие, по 10 – 15 тысяч, больше наши ресурсы бумажные не позволяют, поэтому мы очень ограничены в смысле гонорара. Тогда опять врубелевская улыбка в усы: «Я буду сотрудничать с вами не для гонорара, а для удовольствия!».

Наконец, мне надо зайти в Госиздат, для того чтобы получить разрешение на издание Пушкина. Госиздат помещался на Малой Никитской (теперь это улица Качалова, дом 12 – бывшая гимназия Адольфа). Тоже прекрасный старинный особняк, но уже дворцового типа. Я прихожу туда, причем не знаю, с кем же мне разговаривать. Я себе представляю, что я должен поговорить с заведующим Госиздата, кто же другой может мне дать разрешение? Заведующий Госиздата – это Воровский⁶⁷.

Я вхожу в большую комнату, которая перегороджена надвое: в одной части сидит секретарша, и пишущая машинка там, в другой части, отгороженной фанерой, – собственно кабинет. Значит – приемная и кабинет. Дверь в кабинет открыта, никто не спрашивает меня, по какому поводу я пришел, никому не надо докладывать, спрашивать, можно ли пройти, и т.д. И я вхожу в кабинет Воровского. Там несколько человек говорят об издательских делах. Я слушаю с большим интересом, потому что тоже имею отношение к издательским делам и мне интересно знать, какие бывают неполадки в издательстве.

Через несколько минут они обращают внимание на то, что появился еще один слушатель, и Воровский спрашивает меня, по какому я делу. Я ему опять так же бесхитростно рассказываю о наших делах и говорю, что вот мы задумали теперь издать избранный томик Пушкина, но на это нам нужно разрешение Госиздата, потому



Обложка книги Жана Мореаса. Художник В. Рохлин. 1919 г.

Книгоиздательство „Века и Дни“.

Гомель, Садовая д. № 21.

Печатаются:

Фр. Нитше. Так говорил Заратустра. Незаконченные главы.
Анри-де-Ренье. Стихи и поэмы.
Д. Выгодский. Небу и землѣ. Стихи.

Готовится къ печати:

С. Черниковский. Идиллии.
Поэты старой Испаніи.
С. Малларме. Стихи.
Римские элегии. Каталль. Тибуллъ. Проперцій.
Уотъ Уитманъ. Незаконченные стихи.
Р.-М. Рильке. Сказаніе о любви и смерти корнета Рильке.
А. Франсъ. Исторія челоука, который женился на нѣмой женщинѣ.
Л. Выгодский. Похвала ослу. О Крыловѣ.

Въ издательствѣ выразили согласіе сотрудничать: В. Аренсъ,
В. Брюсовъ, Н. Венгровъ, Д. Выгодский, М. О. Гершензонъ,
В. Маклаевскій, В. Ходасевичъ, Г. Шенгели, И. Эренбург
и другіе.

Прикнижная реклама издательства
„Века и Дни“. 1919 г.

ких-то и таких-то отделов. Человек пять-шесть через несколько минут приходят к нему. Он говорит: «Послушайте, как нужна сейчас книга, послушайте, что делают в провинции самые различные люди. Расскажите им о вашей работе». Я им опять рассказываю о том, что делает издательство «Века и Дни», они меня опять с интересом слушают – это же барометр того, чем живет страна. И меня отпускают с миром. Когда я приехал и рассказал Льву Семеновичу и Давиду Исааковичу о результатах своих переговоров, они очень этим были довольны, и наши планы теперь как будто могли осуществляться в широком масштабе.

И тут происходит то, чего следовало, конечно, ожидать и чего мы в глубине души опасались. Понимаете, в Советской России запасы всего были уже исчерпаны. А Гомель только недавно оказался после немцев во владении Советской власти, и значит, в Гомеле были какие-то ресурсы, которые еще не были затронуты. Поэтому в Гомель очень скоро прислали комиссию, которая должна была все гомельские ресурсы мобилизовать и свезти их в центр. В том числе так случилось и с бумагой. Раз бумаги не стало, наше издательство не могло больше существовать. К тому времени гражданская война подходила к концу, стало спокойнее. Давид Исаакович решил уехать в Петроград продолжать там свою научную и литературную работу.

что у Госиздата монополия. «Издавайте все, что хотите, мы вам все разрешаем издавать!» И он готов мне написать такую бумагу, о том, что нам все это разрешается. «Да вам ничего и не нужно, я вам все это разрешаю!» – «Спасибо!» – «Э, подождите, подождите!» Тут он вызывает свою секретаршу, чтобы она позвала заведующих та-

Наша семья оказалась в начале революции разобщенной. Из-за того, что немцы заняли Гомель, мои сестры и отец оказались отрезанными друг от друга. Но тут опять вся семья воссоединилась, стало спокойнее. Я тоже получил возможность уехать в Москву, в университет. Издательство, таким образом, прекратило свое существование, но, повторяю, не только для меня, но, мне кажется, и для Льва Семеновича это было каким-то этапом в жизни, может быть, даже и этапом в его становлении.

Как выглядел Лев Семенович, каков был его облик? Я бы сказал, что он был обаятелен, причем обаяние это чувствовалось прямо с первых же слов. У него был замечательный голос, которым он чудесно владел. Когда он начинал говорить, а он начинал говорить сразу после того, как мы с ним встречались, он становился и внешне обаятельным. Он был смолоду склонен к туберкулезу, и, может быть, как бывает у туберкулезных больных, у него часто появлялся румянец. Этот румянец я могу назвать только девичьим, в полном смысле этого слова – девичий румянец, который ему чрезвычайно шел. Волосы зачесаны на пробор – всегда так было. Обычная домашняя одежда его – косоворотка, обычно черная сатиновая, которая ему тоже очень шла. Чуть-чуть искривленные губы, причем это не усмешка, они чуть-чуть искривлены, даже когда он не усмехается и не иронизирует, и это придает его облику чуть иронический оттенок и вместе с тем совершенно обаятельный. В какое бы общество он ни попадал – везде он производил одно и то же впечатление.

Лучшая, на мой взгляд, фотография Выготского – снятая в Лондоне. Его единственный выезд за границу – это поездка в Лондон на научную конференцию в середине 20-х годов. Лондон произвел на него большое впечатление – и сам город, и вся эта поездка.

Читал он по-английски совершенно свободно. Насколько свободно говорил, мне трудно сказать, потому что мне с ним не приходилось говорить по-английски. Но я себе не представляю, чтобы Лев Семенович чего-нибудь, что ему хотелось сделать, не умел бы осуществить. Он выучил английский язык самостоятельно. В те годы, когда он жил в Гомеле, английскому в городе было учиться не у кого, а ему это нужно было для «Гамлета». Не случайно он в работе о Гамлете пишет о том, что «Гамлета» надо цитировать по-английски, а не по-русски.

ВЫГОТСКИЙ И ДЕТИ

Мне хочется рассказать о детских стихах. Выготский их очень любил. Он читал детские стихи своим младшим сестренкам и брату. Наверное, позднее – маленькой дочери. Детские стихи он повторял в разговорах со взрослыми. Я хочу привести такое стихотворение, пусть оно останется записанным:

*Я теленочка ласкала, был он маленький,
Я теленочка ласкала у завалинки,
Я теленочка ласкала, был он нежненький.
Я теленочка кормила травкой свеженькой.
Как над маленьким я пела над ребеночком,
Навсегда ему велела быть теленочком,
Пусть большие все коровы – ты будь маленький,
Дам тебе я травки свежей у завалинки.*

Лев Семенович с детских или с отроческих лет понимал детей. У них, как я уже говорил, было в семье восемь детей. И вот я помню, как он не только что-то рассказывает самым младшим или читает им какие-нибудь детские стихи, но помню, как он моет им ножки – словом, заботится о них по-настоящему. Может быть, эта склонность к детям в какой-то степени определила его интерес к детской психологии. Я думаю, что ему хотелось сделать так, чтобы его знания имели практическое приложение. Практическое приложение в то время, пожалуй, легче всего могла найти работа в области детской психологии, и даже конкретнее – именно в детской дефектологии. Он любил выражение «аномальный ребенок». Например, у него есть замечательная, на мой взгляд, статья «Слепой ребенок». Мне кажется, что там выражена эта мысль – о том, что слепой ребенок это не дефективный ребенок, а аномальный, у которого вся психика строится по другим каналам, но он вполне полноценен, несмотря на отсутствие зрения.

Мне пришлось слышать рассказ одного моего друга. Он обращался к Льву Семеновичу по поводу своего ребенка. У ребенка была плохая наследственность, и опасались, что у него эпилепсия, потому что у него были какие-то явления, которые рядовые врачи рассматривали как проявление эпилепсии. Родители обратились к Выгот-

скому. Тот внимательно поговорил с ребенком, ознакомился со всем и сказал, что нет никаких оснований считать, что это эпилепсия. Объяснил, что происходит с ребенком, и, действительно, оказалось, что ребенок не эпилептик, из него вырос замечательный математик и еще более замечательный дирижер. Родители рассказывали мне, как с ними говорил Лев Семенович, как он им все объяснял, – это было проникнуто таким глубоким чувством, таким живым, настоящим, неподдельным дружелюбием, желанием помочь и ребенку, и родителям, что становилось ясно, насколько ему эта работа действительно по душе.

Я думаю, что дефектологическая работа с каждым годом занимала все большее и большее место в жизни Льва Семеновича. Думаю, что это была та область, в которой он мог работать и с наибольшей отдачей, и с наибольшей свободой, и с наибольшим пониманием окружающих.

Здесь, в связи с тем, что мы заговорили о его работе в области детской дефектологии, я хотел бы упомянуть имя Гешелиной. Думаю, что это была одна из самых способных, одна из самых понимающих Выготского сотрудников.

ПСИХОЛОГИЯ

Я уже говорил о том, что жизненно важными для Выготского вопросами были вопросы мировоззренческие. И в этом смысле его работа о Гамлете является просто автобиографической. Она показывает, что именно Лев Семенович видел в жизни, что хотел осмыслить через Гамлета. Его мировоззрение, конечно, было трагическим, но в то же время заставляющим не останавливаться на каком-нибудь трагическом выводе, а продолжать искать. Следовательно, для него было бы естественно, чтобы и дальнейшее направление духовного поиска шло в философском русле. Но думаю, что к психологии Выготского тянуло как к чему-то более конкретному.

Я не хочу проводить аналогию между мною и Львом Семеновичем, но такую аналогию мне придется провести. Несмотря на огромную разницу между нами, несмотря на то, что Выготский был, с моей точки зрения, великим мыслителем – не просто мыслителем, а

великим мыслителем, сфера наших интересов была в определенной мере общая. Я учился в Москве на философском отделении историко-филологического факультета. Это отделение имело один прием и один выпуск, и то выпустили нас ускоренным порядком – вместо четырех лет отделение существовало примерно три с половиной года. Не было двух подразделений, но была неофициальная специализация – кто в сторону философии, кто – психологии. Несмотря на то, что основными нашими философскими учителями были такие люди, как Шпет, Ильин⁶⁸, недолгое время Семен Людвигович Франк⁶⁹, я все же был ближе к психологическому уклону. Среди преподавателей психологии не было кого-нибудь сколь-либо стоящего. Был Челпанов⁷⁰. При всем моем большом уважении у нему как к человеку, который много сделал для организации Психологического института и первым в России ввел экспериментальную психологию, я считаю его неталантливым, не то чтобы отсталым – он очень любил психологию, все силы готов был отдать ей, но у него не было нужных для этого сил.

Челпанов был руководителем психологического факультета. Сам-то Челпанов, его Институт экспериментальной психологии после революции фактически не работал. За все время, что я учился в университете, я ни разу не был в натопленной аудитории. Так что в институте не было никаких условий для экспериментальной работы. Задача была хотя бы в том, чтобы приборы сохранились. Часть из них перенесли в другие комнаты, во-первых, чтобы они не разбились, во-вторых, потому что надо было освободить какие-то аудитории для нашего отделения. Челпанов вел у нас курс психологии, но совершенно неинтересно. Не то что бы по старинке... Мне представляется, что можно и по старинке вести интересно, потому что, например, Гюффдинг⁷¹ или Эббингауз⁷² могли интересно читать, а вот Челпанова было скучно слушать. Он очень любил психологию, много сделал в свое время для нее: собрал средства, чтобы выстроить небольшое здание для института, чтобы получить оборудование, – все это было в дореволюционной России непростым делом. Он выпустил книгу «Введение в экспериментальную психологию», которая методически была нужна и свою методическую роль выполнила. Но он был совершенно, я бы сказал, нетворческий человек и очень скоро потерял не только свое руководящее место – вообще место в психо-

логии. Челпанова попросту уволили, и довольно, как нам тогда казалось, некрасиво уволили, это сделали по тем нормам, которые были приняты. На его место пришел Корнилов⁷³. Но и Корнилов, как мне кажется, был человеком неталантливым. Что о нем думал Лев Семенович, я не знаю.

Семинар по этнической психологии вел Шпет – но это была и не этническая и не психология. Шпет был гуссерлианцем⁷⁴, но он не мог быть только гуссерлианцем, он был Шпетом. Семинар был очень интересным, но это не было настоящей психологией. Он понимал, что в современной



Г.Г. Шпет. 1920-е гг.

философии основные проблемы это проблемы теории познания. Шпет был гуссерлианцем не подражательным, а оригинальным. Иначе быть не могло, – это был яркий философ. Но Шпет был глубоким противником того, что можно назвать «психологизмом», и считал, что надо очистить теорию познания от всех следов психологизма. Лев Семенович с этим был совершенно согласен: психологизм и научная психология не имеют ничего общего.

Меня всегда интересовал вопрос о том, был ли Выготский знаком с Бахтиным⁷⁵, но я не могу этого установить. Почему меня это заинтересовало? Лев Семенович в книге «Мышление и речь» говорит о том, что слово может иметь много значений, и в качестве иллюстрации к этому приводит отрывок из Достоевского (кажется, из «Дневника писателя»). Достоевский описывает такую ситуацию: он идет, и навстречу ему идет несколько рабочих. Каждый рабочий говорит только одно слово, и из контекста совершенно ясно, что говорят они слово нецензурное, и вместе с тем, как каждый раз, когда это слово говорит другой рабочий, оно приобретает иной смысл, и таким образом получается целый разговор. Когда я читал это место в

книге Выготского, я не знал, что у Бахтина тоже написано об этом. Взял ли Лев Семенович это из работы Бахтина, которая была подписана псевдонимом Волошинов, или нашел это самостоятельно у Достоевского, я не знаю, но очень хотел бы знать. Тут могут быть любые варианты. И совпадения такие мне приходилось в жизни видеть у людей, наверняка друг друга не знавших. Приходилось слышать, как люди, которые не могли друг друга знать, высказывали одни и те же мысли в совершенно одинаковых словах.

Мне кажется, Выготский умел находить подтверждение своей мысли в любом материале. Причем очень часто бывало так, что он приводил факты, на которые ссылается какой-то исследователь, и те объяснения, которые исследователь дал этим фактам, и тут же говорит, что объяснение этим фактам должно быть совершенно противоположное.

ВХОЖДЕНИЕ В БОЛЬШУЮ ПСИХОЛОГИЮ. МОСКВА

Выготский вошел в большую психологию в 1924 году, когда был Второй Всероссийский психоневрологический съезд в Петрограде. Лев Семенович приехал туда, кажется, с тремя замечательными докладами, которые буквально ошеломили всех. Вспомните, как А.Р. Лурия⁷⁶ рассказывает об этих докладах. Ведь откуда приехал Выготский? Из Гомельского педагогического техникума. Работы, представленные на съезде, были сделаны в Гомеле на материале в какой-то степени учебной работы. Может быть, учебная работа давала ему возможность глубже вести эти исследования, ведь понимание того, что психология переживает кризис, что старая психология зашла в тупик, пришло к нему именно в гомельские годы на базе работы в Педагогическом техникуме. Тогда вышла книга И.П. Павлова⁷⁷ – я думаю, что она была лишь одной из книг, которые могли на него так подействовать. Мне кажется, что Лев Семенович не сводил понимание психологии к рефлексологии. На мой взгляд, павловское понимание рефлексов неадекватно пониманию Выготским психической деятельности. Ну, а как исходный материал, конечно, эта книга была значительна, важна и сыграла какую-то роль, но наряду с многими другими книгами и, я думаю, с еще большим количеством размышлений. Таким

образом, Выготский естественно, по преемственности работы, пришел в психологию, а вместе с тем мне представляется, что в психологии, во всяком случае на протяжении первого десятилетия его работы, большую роль играли и чисто философские проблемы. Я думаю, что книга Выготского «Психология искусства» с полным правом могла бы быть названа «Философия искусства». В сущности говоря, там под «фиговым листком» психологии обсуждаются философские вопросы.

Почему он не опубликовал эту работу?

Я думаю, это было невозможно в то время. В примечаниях В.В. Иванова к осуществленному им первому изданию книги в 1965 году говорится, что при публикации текст «Психологии искусства» не менялся, но в нем были сделаны небольшие сокращения, выброшены различные цитаты и т.д. Думаю, что это могли быть какие-либо цитаты, которые Лев Семенович считал важными, но из-за существовавших в стране обстоятельств их нельзя было публиковать. Не знаю... Но, кроме того, я думаю, он многого не публиковал. Может быть, среди неизданных при жизни Выготского работ нет второй такой законченной вещи, как «Психология искусства». Во всяком случае, она была для него очень дорогой книгой. У Выготского было мало людей, которых он считал своими друзьями в полном смысле этого слова, с которыми очень близко общался. Но одним из таких людей был кинорежиссер Сергей Эйзенштейн⁷⁸. И то, что именно у Эйзенштейна в архиве нашлась рукопись «Психологии искусства», я думаю, очень характерно. Это свидетельствует о том, насколько Лев Семенович ценил эту книгу.

После докладов на съезде в Петрограде Выготский сразу получил приглашение в Москву на какую-то небольшую должность в Институт экспериментальной психологии. У него было очень скромное звание – научный сотрудник второго разряда. Но, несмотря на скромную должность, он сразу занял очень видное место, очень скоро вокруг него сгруппировались молодые психологи, и работа пошла в очень быстром темпе. Я думаю, что у Льва Семеновича был большой «задел». За гомельские годы, за годы работы в Педагогическом техникуме, он глубоко продумал многие вопросы психологии.

Выготский поселился в здании, где теперь находится Институт психологии Академии педагогических наук. Тогда там помещался Елпановский Институт экспериментальной психологии, там же проходили занятия философского отделения университета, на котором я занимался. Лев Семенович получил в подвале небольшую комнату. Скоро к нему приехала жена – Роза Ноевна. Тут произошел любопытный случай. Отделение факультета, на котором я занимался, уже было ликвидировано, но архив этого отделения сложился как раз в той комнате, которую отвели Льву Семеновичу. Он заинтересовался и немножко стал разбирать этот архив. Однажды я к нему прихожу, и он говорит: «Знаешь, Сеня, я нашел твой доклад. Мне понравился». Это был доклад на семинаре Г.Г. Шпета по исторической психологии, тема доклада: «Что делает людей нацией». А доклад этот, – говорю я, – это то, чем мы занимались в кружке. Помнишь, это твоя мысль, что людей делает нацией общность исторических судеб?»

Прошло несколько месяцев. Роза Ноевна, жена Льва Семеновича, ждала ребенка. Рожать в этой самой подвальной комнатке, конечно, было нельзя. Тут пришел на помощь друг Выготского – Владимир Самойлович Узин. Я о нем еще ничего не сказал. Эта служба идет еще с гомельских лет. Вообще говоря, в старом дореволюционном быту все было как бы разложено по полочкам. Известно было, кто чем занимается и у кого какое дело, каждый делал свое дело по привычке, по традиции, по старинке и т.д. Людей богемного типа было немного.

Узин был человеком именно богемного типа, в смысле полного невнимания к быту. У Петрарки есть такие слова: «Быт – это то, чего нельзя избежать, но что нужно презирать». Так вот, Узин, несмотря на то, что у него была семья, жена и двое детей, жил без какого-либо порядка налаженного быта, без твердого расписания и т.д. Это был человек физически очень странный. Очень маленького роста, еще немножко, и мы сказали бы «карлик» – с большой головой, и не только большой, но и очень умной. Он был старше всех нас. Никакого дипломированного образования Узин не получил. Но благодаря своему уму и способностям, самоучкой он стал одним из самых образованных людей, которые мне встречались.

Узин блестяще знал языки, в частности латынь и испанский. В Гомеле он давал частные уроки, но в то время, как Соломон Маркович Ашпиз, о котором я вам рассказывал, был учителем особого типа, Владимир Самойлович имел совершенно рядовые уроки. Этим он жил, и жил, я думаю, довольно бедно. Во время экзаменов в гимназии Узин писал сочинения за некоторых гимназистов. Каким-то скрытым путем ему передавали темы сочинений и так же скрытно Узин передавал в гимназию написанные им страницы.

Он был инициатором игры среди гомельской молодежи – «литературного суда». «Судили» кого-либо из литературных героев. Заранее распределяли роли среди участников «суда» – защитники (адвокаты), обвинители (прокуроры), члены суда, присяжные. Я помню, как в 1915 или в 1916 году на «суд» вместе с Узиным пришел Лев Семенович, бывший в Гомеле на каникулах. «Судили» героя рассказа Гаршина⁷⁹ «Надежда Николаевна», совершившего убийство из ревности. Узин был выбран председателем суда. Лев Семенович соглашался на роль либо прокурора, либо защитника – отстаивать любую точку зрения. Поначалу это озадачило участников игры – как же можно защищать противоположные точки зрения? Дело в том, что Лев Семенович умел увидеть аргументы в пользу и той и другой стороны. Сказалось воспитание будущего юриста на юридическом факультете. Но и по складу своего мышления Лев Семенович всегда был чужд односторонности, предвзятости, излишней уверенности в правильности какой-то единственной концепции. Замечательная способность понимать и чужую точку зрения характерна для всей его научной работы.

Возможно, учеба на юридическом факультете способствовала и развитию ораторских способностей Льва Семеновича, но умение ясно и убедительно излагать свои мысли было у него прямо-таки врожденным. О чем бы он ни рассказывал, все было интересным и увлекательным. Как-то ему сказали: «Как талантливо вы рассказываете». Он ответил: «Не я талантлив, тема моя талантлива».

Влияние Узина на Выготского было несомненным. Они познакомились следующим образом. Льву Семеновичу захотелось лучше узнать латынь. Я думаю, он мог бы и сам заниматься, без чьей-либо

помощи, потому что английский язык, который был ему нужен для «Гамлета», он изучил сам. Но сложилось так, что он стал заниматься латынью с Узиным, и эти занятия очень скоро переросли в настоящую дружбу. Надо вам сказать, что в старое время у прогрессивной части общества было отрицательное отношение к латыни. Дело заключалось в том, что до революции, особенно в конце XIX века, для того чтобы сделать среднюю школу менее доступной для людей из народа, в ней в качестве обязательных предметов, причем с широкой программой, были введены латынь и греческий. В то время, когда Выготский учился в гимназии, греческий был уже не обязателен, а латынь – обязательна. Замечательный знаток античности, Зелинский³⁰ много делал для того, чтобы поднять интерес к латыни и греческому, но отношение к этим языкам сохранялось весьма и весьма отрицательным.

Об Узине стоит сказать еще несколько слов. Несмотря на то, что у него не было никакого диплома, даже о среднем образовании, уж не говоря о высшем, он написал ряд работ по испанской литературе, с его предисловиями выходили сочинения испанских классиков. (Например, с его вступительной статьей были изданы пьесы Лопе де Вега). После революции Узин написал интересные литературоведческие и театроведческие труды, сделал ряд переводов с испанского языка. Он написал небольшую книжку о пушкинских «Повестях Белкина»³¹. Когда появились ученые степени, ему присвоили степень кандидата наук без защиты диссертации. Он был человеком на редкость талантливым. Узин переехал в Москву тоже в начале 20-х годов, и в Москве у него были довольно хорошие жилищные условия. Роза Ноевна именно в квартире Узина рожала, выздоравливала после родов. Дружба Льва Семеновича с Узиным продолжалась всю жизнь, до конца жизни Выготского.

Возвращаясь к научной работе Выготского в Москве. Сначала – общее признание и как будто бы очень хорошие условия для работы. Но я думаю, что в конце 20-х годов, может быть, уже во второй половине 20-х годов, условия стали гораздо более трудными из-за недоверия к специалистам, к ученым – недоверия с одной стороны, почти ничем не оправданного. Я говорю «почти ничем», потому что, наверное, могли быть отдельные случаи, когда такое недоверие могло быть

чем-то оправдано. Но думаю, что таких случаев было очень мало. При этом буквально каждый, любой неуч мог что-нибудь ляпнуть, и это отзывалось таким резонансом, который делал работу невозможной. Сплошь да рядом у Льва Семеновича бывали огромные, скажем мягко, неприятности на этой почве. Я бы не побоялся сказать, что иногда все это носило характер травли. И Лев Семенович переживал это очень болезненно.

Выготский часто болел. У него был туберкулез. Первый раз с его туберкулезом я столкнулся следующим образом. Через несколько месяцев после того, как я уехал в Москву, я получил от него письмо из Гомеля, что он тяжело болен, думает, что не выживет, и поэтому просит меня сделать следующее: зайти к Юлию Айхенвальду³² (это был его преподаватель по университету Шаняевского, один из самых крупных литературных критиков дореволюционного времени), рассказать о том, что с ним происходит, и попросить, чтобы после его смерти Айхенвальд принял какие-то меры для того, чтобы издать его работы. Конечно, я сразу отправился к Айхенвальду. Он очень хорошо помнил Льва Семеновича, очень сочувственно ко всему отнесся – он вообще был прекрасный человек – и, конечно, обещал, что все сделает. Я написал Льву Семеновичу, чтобы он не думал о смерти, что все обойдется, что его поручение я исполнил. Написал о том, как Айхенвальд отнесся к его просьбе. Через два-три месяца Лев Семенович поправился.

Время от времени в Москве у него бывали обострения туберкулеза, и каждый раз туберкулез обострялся, когда бывали какие-либо осложнения или неприятности в работе. Выготский очень чувствительно относился к ситуации на работе. В Москве мы виделись не так часто, как в Гомеле. В Гомеле примерно год или два мы жили в одном и том же доме – это те годы, когда существовало издательство «Века и Дни». Виделись мы тогда, по сути дела, ежедневно и проводили значительную часть дня вместе. В Москве, конечно, это не могло быть так – жили мы в разных концах города, работа была у нас различная и у обоих достаточно напряженная. Вспоминаю такой случай (это было уже в 30-е годы). Как-то я пришел к нему – он болен, лежит и говорит примерно следующее: «Работать мне стало здесь совершенно невозможно.

Мне предлагают интересную работу в Сухуми, в обезьяньем питомнике. Но я не решаюсь поехать туда один. Ты бы со мной поехал?» Я уже примерно лет семь, как не занимался психологией, у меня уже была семья, и родители мои жили в Москве, и мне нелегко было бы их оставить, и тем не менее я прекрасно понимал, как важна для Льва Семеновича возможность уехать в Сухум. Я не колеблясь ответил ему: «Поеду!» Однако этот план не осуществился, может быть из-за состояния здоровья Льва Семеновича, может быть, по каким-то другим причинам, но наша поездка не состоялась.

Выготский стал все чаще хворать, ему наложили пневмоторакс, который в те годы считался замечательным средством, но и пневмоторакс не помог. Последний месяц своей жизни он провел в санатории в Серебряном бору под Москвой. И там умер.

В последние годы своей жизни Лев Семенович особенно часто повторял стихотворение В. Ходасевича⁸³ «К Психее»:

*Душа! Любовь моя! Ты дышишь
Такою чистой высотой,
Ты крылья тонкие колыхаешь
В такой лазури, что порой
Вдруг, не стерпя счастливой муки,
Лелея наш святой союз,
Я сам себе целую руки,
Сам на себя не нагляжусь.*

Проф. Л. С. ВЫГОТСКИЙ

В ночь на 11 июня от туберкулеза легких умер крупнейший советский психолог — проф. Л. С. Выготский.

Благодаря работам проф. Выготского советская наука обогатилась рядом новых работ в области психологии, педологии, дефектологии и клиники. Его ценнейшие научные труды получили широкое признание не только в Советском Союзе, но и за границей.

Проф. Л. С. Выготский был активным общественником, организатором и руководителем ряда научных и научно-практических учреждений, сыгравших большую роль в строительстве советской школы.

Болезнь безвременно свела Л. С. Выготского в могилу. — Он умер на тридцать восьмом году своей жизни.

Профессора: Разенков, Гиларевский, Внучев, Сапко, Крапль, Рау, Лурин, Членов, Занков, доц. Сопольев, Данишевский, В. Ф. Шиндт, доц. Гещалина, доц. Проллер, Александровский, Власова, Зайгарина, Биренбаум.

Некролог. «Известия», 14 июня 1934 г.

*И как мне не любить себя,
Сосуд непрочный, некрасивый,
Но драгоценный и счастливый
Тем, что вмещает он — тебя?*

Лев Семенович очень любил задачи с двойным решением. Иногда они носили характер остроумных шуток, иногда это были какие-нибудь слова, которые имели два смысла. Сестра, которая ходила за ним перед смертью, рассказывала, что его последними словами перед смертью были: «Я готов!». Их тоже можно рассматривать как имеющие два смысла.

Добавлю еще несколько слов. Наверное, рассказывая о Льве Семеновиче, я многое пропустил. Но так как я вам рассказываю о делах, которые имеют давность в 70 – 60, по меньшей мере в 50 лет, то у меня в рассказе могут быть какие-то неточности. Вы меня поймете и извините.

КОММЕНТАРИИ

1. *Гомель* – город в юго-восточной части Белоруссии (в то время – часть Российской империи), расположенный, в основном, на высоком правом берегу реки Сож. Город находился в так называемой «черте оседлости» – территории, в пределах которой законодательством Российской империи было разрешено проживать евреям. Начало «черты оседлости» было положено указами Екатерины II в 1791-1794 гг. Первые сведения о еврейском населении Гомеля относятся к 1537 г., когда Гомель входил в состав Великого княжества Литовского. Согласно переписи 1897 г. население Гомеля составляло 36775 чел., из которых 20385 были евреями. В 1940 г. в Гомеле проживало 38 тыс. евреев. Еврейская община Гомеля была уничтожена нацистами во время войны.
2. *Чарторыйские* – литовско-белорусский княжеский род, считавший своим предком литовского князя Гедымина (XIV век). Из этой семьи вышло несколько выдающихся политических деятелей Польши и России XVII-XIX вв.
3. *Румянцев-Задунайский, Петр Александрович* (1725-1796) – выдающийся русский полководец, государственный деятель, генерал-фельдмаршал; сын А. Румянцева – одного из ближайших сподвижников Петра I. В 1764 г., при Екатерине II, был назначен генерал-губернатором Малороссии (ныне Украина). Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русские войска под его командованием захватили левый берег Дуная, в 1774 г. нанесли окончательное поражение турецкой армии и вынудили Турцию заключить выгодный для России Кючук-Кайнарджийский мир. За одержанные победы Румянцев был награжден чином генерал-фельдмаршала и титулом графа с почетным наименованием Задунайский. По свидетельствам современников «оживо чувствовал все ужасы войны». Державин в своей оде «Водопад» посвятил ему следующие строки:

*Блажен, когда стремясь за славою
Он пользу общую хранил,
Был милосерд в войне кровавой
И самых жизнь врагов щадил;
Благословен средь поздних веков
Да будет друг сей человек.*

4. *Румянцев, Николай Петрович* (1754-1826) – старший сын П. Румянцева-Задунайского, русский государственный деятель и дипломат. В 1807-1809 гг. – министр иностранных дел; с 1809 г. – председатель Государственного совета. Был сторонником сближения с Францией. В 1814 г. ушел в

отставку. Принимал ближайшее участие в организации первого русского кругосветного путешествия (1803-1806, под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского). Приобрел известность как собиратель книг, летописей, русских древностей. Его богатейшее книжное собрание легло в основу библиотеки Румянцевского музея в Москве, открывшейся в 1862 г. и в 1925 г. преобразованной в Гос. библиотеку СССР им. В.И. Ленина (в настоящее время – Рос. государственная библиотека). Н.П. Румянцев был почетным членом ряда научных обществ в России и за границей; с 1819 г. стал почетным членом Российской Академии наук.

5. *Паскевич, Иван Федорович* (1782-1856) – граф Эриванский, князь Варшавский; русский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1829). В Отечественную войну 1812 года принимал видное участие в боях под Смоленском, Бородиным, Вязьмой. Участвовал во взятии Парижа; командовал 1-й гвардейской пехотной дивизией; под его командованием служил будущий царь Николай I, что помогло ему впоследствии в его военной карьере. В 1827 г. сменил А.П. Ермолова на посту управляющего Кавказским краем. Во время войны России с Персией (1826-1828) русские войска под командованием Паскевича заняли Тавриз (Тебриз), а затем весь Азербайджан. В результате Персия в 1828 г. подписала Туркманчайский договор, по которому армянские провинции Эривань и Нахичевань отошли к России. В 1831 г. Паскевич командовал войсками, подавлявшими восстание в Польше; после разгрома повстанцев – наместник Царства Польского.
6. *Тан-Богораз, Владимир Германович* (1865-1936) – этнограф, литератор, член партии «Народная воля». Псевдоним «Тан» взят им от его еврейского имени до крещения – Натан.
7. *Выгодский, Давид Исаакович* (1893-1943) – переводчик, литературный критик, поэт. Двоюродный брат Л.С. Выготского. В 1922 г. вышла книга его стихов «Земля». Переводил стихи и прозу с 30-ти новых и древних языков (в том числе с древнееврейского). Его переводы на испанский язык В. Маяковского пользовались широкой известностью в Испании и Латинской Америке. Его арест в 1938 г. вызвал беспрецедентный в годы сталинского террора протест ряда писателей, направивших в НКВД письма в его защиту (Ю. Тынянов, М. Зощенко, В. Шкловский, К. Федин и др.) Погиб в заключении.
8. «*Общество для распространения просвещения между евреями в России*» – крупнейшая культурно-просветительная организация российских евреев, основанная в Петербурге в 1863 г. Основной задачей

Общества было распространение среди евреев знания русского языка, издание оригинальных произведений, а также переводов и периодических изданий как на русском, так и на еврейском языках с целью «распространять просвещение между евреями, и поощрять пособиями юношество, посвящающее себя наукам». Общество оказывало материальную помощь еврейским ученым, занимавшимся исследованиями еврейской истории, и авторам научно-популярных книг на иврите, пропагандирующим «положительные науки и естественные знания». Кроме этого, оно занималось распространением книг на иврите по общей и еврейской истории, а также учебных пособий, и помогало формировать еврейские общественные и школьные библиотеки. В 1874 г. был создан специальный фонд для поощрения начальных и средних еврейских школ с преподаванием русского языка. Значительную статью расходов в бюджете Общества составляла материальная помощь евреям-учащимся высших и средних учебных заведений России. После Октябрьской революции 1917 г. деятельность Общества была затруднена, а в 1929 г. оно было упразднено властями.

9. *Выгодская, Зинаида Семеновна* – сестра Льва Семеновича Выготского; лингвист, соавтор нескольких русско-английских и англо-русских словарей.
10. *Шпет, Густав Густавович* (1878-1940) – русский философ, литературовед, переводчик. С 1916 г. – доцент, а с 1918 – профессор Московского университета. В понимании сущности истории исходил из идей Гуссерля и Гегеля. Был ближайшим помощником Челпанова в создании Московского психологического института. Выдвинул задачу разработки теории слова как знака – семиотики (был одним из ее создателей). Предвосхитил идеи современной семантики как центральной области лингвистики. Арестован в 30-е годы. Умер в заключении.
11. *Карлейль, Томас* (Carlyle, Thomas, 1795-1881) – английский историк и публицист. Творцами истории, по Карлейлю, являются «герои», «вдохновенные личности» – носители «идеи божественного» (пророки, поэты, пастыри, писатели, политические вожди).
12. *Делич, Фридрих* (Delitzsch, Friedrich; 1850-1922) – ориенталист; основатель школы ассириологов в Германии; специалист по исследованию языков Древнего Востока. Три его доклада, в которых он сравнивал культуру Вавилона с Библией („Babel und Bibel“, изданы в 1902-1905 гг; в русском переводе вышли в 1905 г. в Петербурге) вызвали дискуссию среди специалистов разных стран.
13. Система школьного образования в царской России была весьма непростой. Обычно она состояла из четырехклассной начальной школы и це-

лой системы различных средних школ; наиболее распространенными были классическая гимназия (8 классов), а также реальные и коммерческие училища. Окончание гимназии было необходимой предпосылкой для поступления в университет. В школах и гимназиях было раздельное обучение мальчиков и девочек. Помимо государственных (казенных) были и частные гимназии и училища.

14. *Шкловский, Виктор Борисович* (1893-1984) – русский писатель, литературовед, критик. Участник ОПОЯЗ'а. Рассматривал словесное искусство, прежде всего, как конструкцию; устанавливал закономерности сюжетного развития, сумму приемов, с помощью которых они строятся, принципы «сцепления образов», «воскрешения» слова, обновленного художественной конструкцией.
15. *Якобсон, Роман Осипович* (1896-1982) – русский и американский языковед, литературовед, специалист по семиотике. Уехал из России в 1921 г. Один из основоположников структурализма. Последний раз приезжал в СССР с докладом на международный симпозиум по проблеме бессознательного (1979).
16. *Шагинян, Мариэтта* (1888-1982) – известная советская писательница.
17. *ОПОЯЗ* – Общество изучения поэтического языка – русская школа в литературоведении 10-20-х годов XX века, одно из ответвлений формальной школы.
18. *Эйхенбаум, Борис Михайлович* (1886-1959) – русский историк литературы. С 1918 г. входил в ОПОЯЗ. Вместе с В. Шкловским, О. Бриком, Л. Якубинским разрабатывал проблемы поэтики, композиции, ритма. Считал, «что творчество ... есть акт осознания себя в потоке истории».
19. *Московский городской народный университет им. А.Л. Шанявского* был открыт по инициативе и на средства либерального деятеля народного образования генерала А.Л. Шанявского (1837-1905). Законопроект об открытии университета был проведен через Государственную думу в 1908 г. Принимались лица обоего пола не моложе 16 лет, независимо от национальной принадлежности, религиозных и политических взглядов. Диплом о среднем образовании не требовался. Имел два отделения: на научно-популярном давалось общее среднее образование; на академическом – высшее по естественно-историческим и общественно-философским группам наук. В 1912 г. в университете училось свыше 3600 студентов. Закрыт советскими властями в конце 1918 г.
20. *Чаплыгин, Сергей Алексеевич* (1869-1942) – физик, работал вместе с Н. Жуковским в областях теоретической механики, гидромеханики и аэродинамики.

21. *Жуковский, Николай Егорович* (1847-1921) – «отец русской авиации», в 1904 г. основал в Подмоскowie первый в Европе аэродинамический институт (сейчас Центральный аэрогидродинамический институт в городе, названном его именем).
22. *Сакулин Павел Никитич* (1868-1930) – русский советский литературовед, академик (1929). В 1891 окончил историко-филологический факультет Московского университета. Вел интенсивную педагогическую, научную и общественную деятельность: возглавлял Общество любителей российской словесности; преподавал в Московском университете и Университете им А.Л. Шанявского; подготовил и опубликовал капитальную монографию «Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский» (1913), справедливо признанную энциклопедией русской общественной и литературной жизни 20-30-х гг. 19-го века.
23. *Орленев (Орлов), Павел Николаевич* (1869-1932) – театральный актер. Его искусство представляло новое направление психологического реализма. Выступал во многих городах России, а также за границей.
23. *Каминская, Ида* (1899-1980) – актриса, режиссер. С детства выступала на идиш в театре своего отца, гастролировавшем во многих городах России. В 1916 г. играла в еврейской оперетте. В 1921-1928 гг. руководила Варшавским еврейским художественным театром, а с 1933 – основанным ею еврейским театром в Варшаве. В начале 2-й мировой войны бежала в СССР, руководила Львовским еврейским театром (в 1941 г. он был эвакуирован в город Фрунзе). В 1947 г. вернулась в Польшу, возглавляла еврейские театры в Лодзи (1949-1953), Вроцлаве (1953-1955), Варшаве (1955-1968), которому был присвоен статус Государственного еврейского театра (сейчас этот театр носит ее имя). Поставила в своей инсценировке «Братья Карамазовы» Достоевского и другие пьесы. В 1968 г., в разгар антисемитской кампании в Польше, эмигрировала в США, играла в театрах Нью-Йорка, в 1975-1976 гастролеровала в Израиле.
24. См.: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
25. *Бунин, Иван Алексеевич* (1870-1953) – русский писатель. Мастер «малых» форм – повести, рассказы, новеллы – и поэтических переводов («Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло и др.) Эмигрировал после Октябрьской революции в 1920 г. Был первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе (1933). Умер в Париже.
26. *Таиров (Коренблит), Александр Яковлевич* (1880-1950) – театральный режиссер; начал свою карьеру в качестве актера в 1905 г. в Киеве. В 1914 г., вместе с известной актрисой Алисой Коонен и группой моло-

дых актеров, основал в Москве Камерный театр. В 1950 г. театр был закрыт властями в ходе «кампании против космополитизма».

27. *Анненский, Иннокентий Федорович* (1856-1909) – русский поэт. Поэзия Анненского выражает «боль городской души», которую «пытали Достоевским» (слова самого поэта). Его поэзия не пользовалась широкой известностью при жизни автора, но в дальнейшем оказала влияние на творчество поэтов-акмеистов.
28. *Эфрос, Николай Ефимович* (1867-1923) – театральный критик, историк театра, журналист. Автор статей и рецензий о постановках Московского художественного театра и пьесах А.П. Чехова.
29. *Эфрос, Абрам Маркович* (1888-1954) – переводчик, литературный и художественный критик. После Октябрьской революции – один из хранителей Третьяковской галереи. Известность Эфросу принес перевод с древнееврейского «Песни песней» (1909).
30. *Спиноза, Барух* (Бенедикт; 1632-1677) – нидерландский философ, оказавший большое влияние на философию и науку последующего времени (в частности, А. Эйнштейн был последователем философии Спинозы). Гегель видел в учении Спинозы высшее философское выражение еврейского монотеизма. Спиноза воспринял от Декарта идеал построения единой философской системы (по образцу положений математики).
31. См.: Гальперин П.Я. Спиноза и его учение об эмоциях в свете современной психоневрологии // «Вопросы философии». 1970. № 6. С.119-130.
32. *Блок, Александр Александрович* (1880-1921) – крупнейший русский поэт-символист, замечательный лирик «серебряного века» русской поэзии (начало XX века).
33. *Тютчев, Федор Иванович* (1803-1873) – русский поэт, крупнейший представитель русской философской лирики. Вся поэзия Тютчева пронизана тревогой, человек в ней живет «среди громов, среди огня, среди kloкочущих страстей, в стихийном пламенном раздоре» («Поэзия»).
34. *Черный, Саша* (Александр Михайлович Гликберг, 1880-1932) – русский поэт, переводчик. С 1905 г. публиковался в известных петербургских сатирических журналах. В 1908-1911 гг. – один из ведущих авторов еженедельника «Сатирикон». Создал оригинальную сатирическую маску интеллигентного обывателя, под прикрытием которой бичевал мещанство в различных сферах жизни. С 1911 г. много писал для детей. В 1918 г. эмигрировал в Литву, затем жил в Берлине, а с 1924 г. – в Париже. Вокальный цикл на слова Саши Черного создал Д.Д. Шостакович.

35. *Гумилев, Николай Степанович* (1886-1921) – русский поэт, критик, беллетрист, переводчик. Много путешествовал, два раза был в Африке. В начале 1-й мировой войны пошел в действующую армию добровольцем, получил два Георгиевских креста. Был женат на А.А. Ахматовой. Первая книга стихов «Путь конкистадоров» вышла в 1905 г. Известность Гумилева началась с возникновения провозглашенного им нового поэтического течения – акмеизма (группа «Цех поэтов», 1911). Расстрелян в 1921 г. по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.
36. *Липскеров, Константин Абрамович* (1889-1954) – русский писатель и поэт, переводчик, художник. Первые стихи опубликованы в 1910 г. Драма «Карменсита» (1923) по мотивам новеллы П. Мериме была поставлена в 1927 г. В.И. Немировичем-Данченко. Перевел на русский язык грузинский эпос «Давид Сасунский», поэмы Низами.
37. *Гофман, Виктор Викторович* (1884-1911) – русский поэт. Первые стихи Гофмана появились в печати в 1903 г. в альманахах символистов «Северные цветы» и «Гриф». В 1902 г., еще гимназистом, Гофман встречается с В. Брюсовым, и их дружба сохраняется до конца жизни Гофмана. Поэтическое творчество Гофмана проникнуто духом интимных переживаний, мотивами романтических грез, лирики, «намёков чувств». В статье «Мои воспоминания о Викторе Гофмане», написанной в 1917 г., В. Брюсов писал: «...в непосредственном даре певучести стиха у В. Гофмана среди современных поэтов было мало соперников: К. Бальмонт, А. Блок, – кто еще?» В 1911 г. в Париже в период душевной депрессии Гофман покончил жизнь самоубийством.
39. *Клюев, Николай Алексеевич* (1887-1937) – русский поэт. Родился в крестьянской семье староверов. Первый сборник стихов вышел в 1912 г. («Сосен перезвон») с предисловием В. Брюсова. Начал со стихов в стиле раскольнических песнопений, духовных стихов; принимал участие в движениях религиозных сектантов. Позже примыкал к символистам, возглавлял ново-крестьянское направление (С. Есенин, С. Клычков, П. Орешин и др.). Есенин в начале творческого пути испытал на себе заметное влияние Клюева. Клюев приветствовал революцию как возврат Руси к исконным национальным началам, но, разочаровавшись, уже в 1918 г. открыто отрекся от Октября. В 1933 г. Клюев был арестован по обвинению в «кулацкой агитации» (распространение поэмы «Погорельщина») и выслан в Нарьмский край, затем, после ходатайства М. Горького, отбывал ссылку в Томске. В июне 1937 г. был вновь арестован по сфабрикованному НКВД делу о мифической организации «Союз спасения России», которая якобы должна была поднять восстание с целью свержения советской власти и восстановления монархии к

моменту нападения фашистских держав на СССР. Клюеву в этом «сценарии» предназначалась ведущая роль. 13 октября он был приговорен тройкой к расстрелу. Виновным себя не признал, отказался давать показания. Подробнее о последних днях Н.А. Клюева см. в книге В. Шенталинского «Рабы свободы в литературных архивах КГБ» (М., 1995).

40. *Пастернак, Борис Леонидович* (1890-1960) – русский поэт и писатель. Его роман «Доктор Живаго» был запрещен в России, но завоевал международное признание после его опубликования в Италии в 1957 г. Под нажимом советских властей Пастернак был вынужден отказаться от присужденной ему в 1958 г. Нобелевской премии.
41. *Маяковский, Владимир Владимирович* (1893-1930) – русский поэт, один из лидеров футуризма; начал с новаторских лирических стихов, оказавших большое влияние на поэзию 20-го века в разных странах мира; к концу 20-х годов стал активным пропагандистом большевистской идеологии. Покончил жизнь самоубийством.
42. *Есенин, Сергей Александрович* (1895-1925) – русский крестьянский поэт. Он был очень популярен в предреволюционные годы и в первые годы после революции. Покончил жизнь самоубийством. В годы сталинщины его произведения не переиздавались, но его стихи оставались популярными в народе.
43. *Мандельштам, Осип Эмильевич* (1891-1938) – русский поэт; тонкий и глубокий лирик. Имея своими истоками поэзию символизма, акмеизма, футуризма, Мандельштам обновил структуру русского стиха, оказав большое влияние на дальнейшее развитие русской поэзии. В период сталинских репрессий был арестован в 1934 и повторно в 1938 г. Погиб в заключении. Произведения Мандельштама долгое время были запрещены для печати. Многие его стихи сохранились благодаря тому, что их помнила наизусть жена поэта Надежда Яковлевна Мандельштам.
44. В качестве эпиграфа к главе «Мысль и слово» в книге «Мышление и речь» Л.С. Выготский дал строки одного из вариантов стихотворения О.Э. Мандельштама «Ласточка»:

Я слово позабыл, что я хотел сказать,

И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

45. *Белый, Андрей* (Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934) – русский поэт и писатель; теоретик символизма; критик. Увлекался теософией, оккультизмом, философией Вл. Соловьева, А. Шопенгауэра, неокантианством. Впервые выступил в печати со стихами в 1901 г. В 1912 г. испытал влияние главы антропософов Рудольфа Штейнера (1861-1925), стал его последователем.

64. *Мореас, Жан* (Moreas, Jean; 1856-1910) – французский поэт-символист; родился в Греции, во Франкнии с 1880 г. В 1886 опубликовал первый манифест символизма.
65. *Книжная палата* – государственный центр по библиографии и статистике печатной продукции; основана в мае 1917 г. в Петрограде (Санкт-Петербурге) под названием «Русская книжная палата»; в 1920 г. переведена в Москву. В 1936 г. переименована во Всесоюзную книжную палату.
66. *Бове* – семья художников и архитекторов французского происхождения, работавших в России в конце 18-го и первой половине 19-го веков. Наиболее известен из них *Осип Иванович Бове* (1784-1834), руководивший в 1814-1817 гг. новой застройкой Москвы после пожара 1812 г. Деревянный особняк князя Гагарина на Новинском бульваре был построен им в этот период. В числе других выполненных им построек – здание Большого театра, а также Триумфальные ворота у Тверской заставы (1827-1830).
67. *Воровский, Вацлав Вацлавович* (1871-1923) – русский революционный деятель, советский дипломат, литературный критик. Убит в Лозанне белогвардейцем.
68. *Ильин, Иван Александрович* (1882-1954) – русский религиозный философ, нео-гегельянец; автор одной из важнейших русских работ о Гегеле; профессор Московского университета. В 1922 г. был выслан из СССР; жил и работал в Берлине до 1934 г., затем – в Швейцарии. Умер в Цюрихе.
69. *Франк, Семен Людвигович* (1877-1950) – русский философ; последователь В. Соловьева. Вырос в доме своего деда – раввина М.М. Россиянского – одного из основателей еврейской общины в Москве. В 1912 г. принял православие. В 1915 г. вышел в свет его наиболее значительный труд – «Предмет знания», его магистерская диссертация. Главная мысль этой книги – идея неразрывной связи между знанием и бытием. В этой книге Франк близко подошел к пантеизму. После высылки из России жил и работал в Германии (1922-1935). Приход к власти нацизма вынудил его переехать во Францию, а затем в Англию.
70. *Челпанов, Георгий Иванович* (1862-1936) – русский психолог и философ.
71. *Гофдинг, Гаральд* (Hoffding, Harald; 1843-1931) – датский философ и психолог, проф. Копенгагенского ун-та. Находился под большим влиянием С. Кьеркегора, но позднее стал позитивистом.

72. *Эббингауз, Герман* (Ebbinghaus, Hermann; 1850-1909) – один из основателей научной психологии; известен своими работами о памяти. Главный труд – „Über das Gedächtnis“ («О памяти»), 1885.
73. *Корнилов, Константин Николаевич* (1879-1957) – психолог; вице-президент (до 1950 года) Академии педагогических наук РСФСР. В 1938-1941 – директор Научно-исследовательского института психологии (Москва).
74. *Гуссерль, Эдмунд* (Husserl, Edmund; 1859-1938) – немецкий философ; родоначальник феноменологической школы в философии.
75. *Бахтин, Михаил Михайлович* (1895-1975) – выдающийся русский литературовед и мыслитель, выдвинувший оригинальные идеи в области нравственной философии и общей эстетики, истории культуры и философии языка, которые оказали большое влияние на развитие филологических наук в различных странах. В 1929 г. был арестован и выслан в Казахстан. В 1946-1961 гг. возглавлял кафедру всеобщей литературы в Мордовском педагогическом институте (с 1957 г. – Мордовский университет) в городе Саранске. Наиболее известные труды: «Проблемы творчества Достоевского» (1929; переиздания, расширенные и дополненные, под названием «Проблемы поэтики Достоевского» – 1963, 1972, 1979) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса» (М., 1965; была защищена в качестве диссертации в 1946 г. под названием «Франсуа Рабле в истории реализма»). Печатался также под фамилиями своих друзей В.Н. Волошинова и П.Н. Медведева.
76. *Лурия, Александр Романович* (1902-1977) – основатель нейропсихологии, автор теории системной локализации функций в головном мозге. Соратник и – в дальнейшем – продолжатель идей Л.С. Выготского. В своих исследованиях опирался на психологические концепции Выготского и на нейро-физиологические исследования Н.А. Бернштейна. Во время 2-й мировой войны работы А.Р. Лурия и его школы сыграли огромную роль в восстановлении функций после ранений головного мозга. В послевоенные годы Лурия изучал нарушения, возникающие при локальных поражениях головного мозга, и успешно разрабатывал методы лечения этих нарушений.
77. *Павлов, Иван Петрович* (1849-1936) – основатель физиологии высшей нервной деятельности. Упомянутая С.Ф. Добкинью книга – «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы» (М., 1923).

78. *Эйзенштейн, Сергей Михайлович* (1898-1948) – выдающийся русский кинорежиссер, теоретик искусства. Главные фильмы, созданные им: «Броненосец Потемкин» (1925), «Александр Невский» (1938), «Иван Грозный» (1944; 1958)
79. *Гаршин, Всеволод Михайлович* (1855-1944) – русский писатель; особой популярностью пользовались его короткие рассказы.
80. *Зелинский, Фаддей Францевич* (1859-1944) – историк античности; переводчик древнегреческих и латинских авторов; в 1885-1921 гг. – профессор Петербургского университета; с 1921 – профессор Варшавского университета. Член Польской академии наук.
81. См.: Узин В.С. О «Повестях Белкина»: Из комментариев читателя. Пг., 1924.
82. *Айхенвальд, Юлий Исаевич* (1872-1928) – русский литературный критик, автор книги «Силуэты русских писателей» (в трех томах; 1906-1910). Вскоре после описываемых в воспоминаниях С.Ф. Добкина событий опубликовал в «Записках мечтателей» (Пг., 1921) статью, в которой сравнивал расстрел Н. Гумилева с казнью А. Шенье. Л.Д. Троцкий ответил на эту статью «Диктатура, где твой хлыст?» в газете «Известия». После этого Ю. Айхенвальд был арестован и в 1922 г. выслан за границу.
83. *Ходасевич, Владислав Фелицианович* (1886-1939) – русский поэт, прозаик, переводчик, критик. Первая книга стихов – «Молодость» – вышла в 1908 г. В 1922 г. эмигрировал из России. Умер в Париже.

РАННИЕ СТАТЬИ Л.С. ВЫГОТСКОГО

ЕВРЕИ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО*

Первая часть (I) авторского оригинала написана в ученической тетради (на четвертой странице обложки которой напечатано «Бум. ф-ка кн. Паскевич») и занимает все ее 32 страницы, причем оставлены широкие поля. В основной части рукописи почти нет зачеркнутых, добавленных или измененных слов и других поправок стилистического характера. Но на полях сделано несколько довольно значительных вставок. Создается впечатление, что оригинал перетисан с какого-то черновика. Добавления на полях, судя по оттенкам цвета чернил, вписаны позже, при окончательной отделке рукописи.

Эта часть оригинала написана по старой орфографии, включая соблюдение правил о «твердом знаке». Это дает основание считать, что она написана еще в гимназические годы, в 1912 – 13 годах. Уже тогда значительная часть молодежи (да и не только молодежи) опускала «твердый знак» в конце слова, но гимназисты даже в своей переписке обычно не отступали от принятых правил, чтобы не отучиваться от них и не делать ошибок в гимназических письменных работах.

Вторая часть (II) оригинала написана на девяти узких длинных листках (всего 18 страниц) такого типа, какие предназначались для заметок, конспектов лекций и т.п. Она тоже написана по старой орфографии, но «твердый знак» в конце слова чаще опущен. Стилистических поправок в этой части тоже немного, вставок вовсе нет. Можно полагать, что вся работа задумана в гимназические годы (в начале первой части есть заголовок «I»), но, судя по

* Данный текст – первая полная публикация статьи Л.С. Выготского. В сокращенном виде статья была впервые опубликована в тель-авивской газете «Вести» (Прилож. «Окна») в марте 1997 г.

орфографии, вторая часть написана в первый студенческий год. Последние страницы второй части написаны в спешке: некоторые слова даны в сокращении, встречаются (правда, очень редко) не совсем правильно построенные фразы.

Пунктуация в обеих частях оригинала в некоторых случаях отклоняется от общепринятых в то время правил. Сделано это, в основном, так, что усиливается интонационный характер отдельных выражений.

Кроме того, в оригинале имеется листочек (шире и короче листков второй части), на котором намечен как бы план двух частей работы, причем даны тематические заглавия первой и второй частей: «I. Антисемитизм художественный» и «II. Антисемитизм бытовой», которые в основной рукописи отсутствуют. По употреблению «твердого знака» план похож на вторую часть рукописи, но по оттенку чернил немного от нее отличается. После основного текста здесь приведен текст этого листочка.

Из последних фраз второй части следует, что работа должна иметь продолжение. И действительно, после окончания основного текста имеются отделенные чертой слова «Прод. следует». Однако «продолжение», скорее всего, не было написано, во всяком случае, оно не было известно Зинаиде Семеновне Выгодской, у которой хранился весь описанный материал.

* * *

В рукописи цитаты из Достоевского не приведены полностью, а только намечены первыми словами. При подготовке настоящего издания эти цитаты приведены полностью (в квадратных скобках) по «Дневнику писателя за 1877 год» (Полн. собр. соч. Ф.М. Достоевского в 30-ти т., т. XXV).

I

Будущий историк еврейства в России, изучая характерные проявления антисемитизма, как перед загадкой, с недоумением остановится перед отношением русской литературы к евреям. Еще Пушкин определил отношение последующих писателей: «Ко мне поступался презренный еврей» («Черная шаль»). И странно, и непонятно: выдвигавшая принципы гуманности, развивающаяся под знаком человечности, русская литература так мало внесла человеческого в изобра-

жение жида. Непонятно, как мирится с гоголевской гуманностью изображение Янкеля («Тарас Бульба») и картина еврейского погрома. И это отношение Гоголя – гуманность и человечность ко всем кроме Янкеля, – символично для всех последующих писателей. И еще одно странно: доведшая реализм до его крайнего выражения и перешедшая путем гениального психологического постижения тайн души человеческой ту грань, за которой уже реальное становится символическим, русская литература так мало внесла психологического проникновения в изображение евреев, что вкрапленные в гениальнейшие творения эти образы не отвечают самым невзыскательным требованиям художественного реализма.

Начиная с «нравоописательного романа» Ф.В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829 г.), в грубой форме рисующего преступного жида, и проходя через всю русскую литературу (за самыми незначительными исключениями), везде мы встречаем одно и то же отношение к еврею и – что всего удивительнее и замечательнее – одинаковое его изображение. Трудно поверить – об этом свидетельствуют страницы лучших произведений русской литературы, – что изображение еврея одинаково у Булгарина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Пушкина, Некрасова и др.

Везде и всегда – будь то гоголевский Янкель («Тарас Бульба») или тургеневский Гиршель Тропман (рассказ «Жид»), или Исай Фомич Бумштейн Достоевского («Записки из Мертвого дома»), или вообще, по выражению А. Горнфельда, «эпизодический жид», не имеющий прямого отношения к повествованию и лишь мимоходом задевший, встречающийся так часто и у Гоголя, и у Тургенева, и у Достоевского, – везде и всегда жид есть со стороны авторского отношения к нему – «презренный еврей», а со стороны объективного изображения – олицетворение человеческих пороков вообще и специфически национальных в частности.

Если привести выдержки с характеристиками жиды из Тургенева, Гоголя и Достоевского, то с трудом можно будет узнать, кому из этих писателей какой отрывок принадлежит: так мало внес каждый из них своего, индивидуального в изображение жиды.

Типы евреев в русской литературе долгое время создавались по шаблону. А шаблон этот создан в умах русского населения всех слоев и из жизни был перенесен в литературу, где и явился естест-

венным отголоском традиционного представления о неведомом мире еврейства и бытового отношения к жиду.

Конечно, этот тяжкий грех русской литературы (не перед еврейством, разумеется, а перед художественной правдой!) не присущ исключительно ей. Если вы захотите проследить происхождение этого шаблона, он приведет вас к истокам западно-европейской литературы. Средние века, определившие бытовое отношение к еврею и заразившие антисемитизмом глубь веков, создали и перенесли в литературу этот шаблон, который до наших дней еще сохранился почти в неизменном виде.

В средние века, свидетельствует Леруа-Болье*, «еврею приходилось переносить немало оскорблений. Почти всюду он на Масленице должен был разыгрывать роль шута для забавы уличной черни. Еврей забавлял толпу; он служил для нее посмешищем. В лучшем случае он возбуждал только смех». Вот почему и в литературе «он действительно превратился в своего рода Арлекина, всегда исполняющего одну и ту же роль». Вот почему «поэты и беллетристы изображали нам только стереотипного еврея, пресмыкающегося, плутоватого, хищного». Вот откуда это старое, но долго, прочно державшееся правило драматургов: «Общепризнанно, – говорит Александр Дюма, – что еврей на сцене всегда должен быть смешон» («Lettre à M. Cuvillier-Fleury»).

Характерно отметить в подтверждение выставленного мною раньше положения – в изображении еврея литература грешна не перед еврейством, а перед художественной правдой, – что наряду с этим шаблоном порочного и смешного жиды в литературе существовал (да и сейчас еще не умер) шаблон, по которому создавались долгое время типы евреек.

«Если еврей, – говорит Леруа-Болье, – должен внушать отвращение, то наоборот, еврейка снабжается всевозможной обольстительностью. Все еврейки привлекательны – так уж установлено традицией». Эта законная героиня баллад сохранилась, к сожалению, не в одной оперетте, а незаконно (художественно-незаконно) была воскрешена и в драме, и в романе, и в повести, и в рассказе.

* Все нижеприведенные цитаты взяты мною из книги Леруа-Болье «Евреи и антисемитизм».

«Наши рыцарские чувства, – говорит дальше Леруа-Болье, – или арийская слабость всегда легко поддавались обаянию их бархатных глаз с длинными ресницами. По отношению к ним, кажется, антисемитов не существует», – остроумно заканчивает Леруа-Болье.

И, тем не менее, прибавлю я, эти балладные (ныне опереточные) образы так же (если не больше!) художественно незаконны и так же не отвечают самым невзыскательным требованиям художественного реализма, как и образы жида.

Русская литература тоже знает этот образ «скидовки молодой», которую вы встретите не только в Лермонтовской «Балладе», но и в романе, и в драме, и в повести. Авторское отношение к ней определил тот же Пушкин. Это не презренная жидовка!

*А завтра к вере Моисея
За поцелуй твой, не робея,
Готов, еврейка, приступить,*

говорит он.

И, тем не менее, несмотря на такое авторское благорасположение к еврейке и ее поцелую, и «обаянию ее бархатных глаз с длинными ресницами», этот образ так же художественно незаконен, как и образ еврея, внушающий только презрение.

Дело, следовательно, не в авторском отношении (и это характерно, замечу в скобках, но это дело второе – и об этом ниже!) – а дело в художественной незаконности, шаблонности, стереотипности того и другого образа.

И вот, если с одной стороны таково обычное отношение к еврею и таково его шаблонное, стереотипное, всегда одинаковое изображение, – то, как характерно, с другой стороны, как глубоко знаменательно, что русская литература не дала... нет, что мировая литература дала только *одного* Шейлока!

Тайна еврейского духа, еврейской психологии была и до сих пор остается неразрешимой загадкой, которую тщетно пытались (да и пытались ли?) разгадать тайновидцы человеческой души.

Еврейское лицо, отмеченное тревожной скорбью и непонятной печалью, затаенной далеко-далеко в еврейских глазах, не запечатлено на художественном портрете, но характерный еврейский нос с горбинкой и странное для чужого слуха произношение зарисованы в тысячах карикатур.

В деле изображения художественных типов евреев Достоевский не ушел дальше других писателей. В его произведениях вы не найдете ни одного художественного образа еврея. «Ни одного цельного еврейского образа у Достоевского нет» – констатирует В. Жаботинский («Русская ласка»). Это все – шаржи, как и евреи – герон Гоголя, которые, по выражению А. Горнфельда, представляют собой «не реальное изображение, а карикатуры, появляющиеся по преимуществу за тем, чтобы насмешить читателя».

«В изображение своего товарища по каторге Исаия Фомича Бумштейна («Записки из Мертвого дома», 1861) Достоевский не вложил ничего кроме бесконечного презрения», – говорит А. Горнфельд.

«Презренный еврей» – вечный припев смешной песни о жиде.

Александр Петрович Горянчиков, от имени которого ведется рассказ, так описывает Исаия Фомича: «Это был человек уже не молодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив. Пришел он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками тотчас после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти его клейма. Употребить эту мазь в остроге он не смел и выжидал своего двенадцатилетнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. «Не то нельзя будет зениться», сказал он мне однажды, «а я непременно хочу зениться»... Он всегда был в превосходнейшем расположении духа. В каторге жить ему было легко; он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжелых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залоги всю каторгу деньгами». (Глава IV. «Первые впечатления»).

О, конечно! О, разумеется! Само собой разумеется! Ведь иначе он не был бы евреем! Ведь еврей и ростовщик это синонимы! Ведь этого требует шаблон!

Это только – «первое впечатление». Как видите, смешон (это «зениться»!) и ростовщик. Вместе это делает из него еврея.

Неудивительно поэтому, что Исаия Фомича любили поляки: «может быть, единственно потому, что он их забавлял. Нашего жидка, впрочем, любили даже и другие арестанты, хотя реши-

тельно все без исключения смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспомнить о нем без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы», который, раздевшись, чтобы отправиться на ночь со своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды, похож на обципанного цыпленка» (Глава IV).

Это символично, что Исай Фомич напоминал автору «Записок» Янкеля: он, в самом деле, «как две капли воды» похож на «гоголева жидка», и нам напоминает свой прототип. Это сходство говорит, конечно, не в пользу художественного образа Достоевского, так как оно слишком просто объясняется: Исай Фомич создан по шаблону «гоголева жидка», или вернее, оба они созданы по одному, старейшему их обоим шаблону. И для одной и той же цели оба они появляются: они «забавляют», о них нельзя «вспоминать без смеху».

Не надо, однако, думать, что при более тщательном описании Достоевский пошел дальше «Первых впечатлений». Исай Фомич появляется только там, где надо рассмешить читателя. Вот как рассказывается «пресмешная история» прибытия его:

«Он уморительнейшим образом прибыл на каторгу... Арестанты ждали его с нетерпением и тотчас же обступили, как он вошел в ворота... Кругом раздавался смех и острожные шуточки, имевшие в виду еврейское его происхождение» (Глава IX).

Сейчас же по прибытии Исай Фомич занялся, разумеется, раздачей денег под заклад.

«Он не нуждался, жил даже *богато*^{*} ... и давал под заклад на проценты всей каторге... В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства... Исай Фомич, очевидно, служил всем для развлечения и всегдашней потехи» (Глава IX).

Для этого же, очевидно, служит Исай Фомич и автору.

«Господи, что за уморительный и смешной был этот человек!» – восклицает он.

Следует отметить, чтобы подчеркнуть, каким диссонансом звучит рассказ об Исае Фомиче в книге, проникнутой духом высокой

* Курсив здесь и далее Достоевского (Л. В.)

гуманности и идеей святости человеческой личности, забаву арестанта Лучки:

«Лучка, знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его и вовсе не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч.»^{**} (Глава IX).

Вот выдержки из диалога Лучки с жидом:

«– Эй, жид, приколочу! – Парх проклятый! – Жид пархатый!» и т.д., и т.д. (Глава IX).

Достоевский подчеркивает много раз, что это «вовсе не из злобы, а так для забавы», и что Исай Фомич «нисколько не обижался».

Позволю себе сопоставить эту забаву («не из злобы!») с другой забавой, забавой поручика Смекалова, о которой рассказывается в той же книге (Ч. II, гл. II.).

Смекалов наказывал больно, но с шутками, смехом и тоже не из злобы, а так для забавы, чтобы посмеяться. «Одно слово, душа человек! Забавник!» Его шуткам «ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый».

И, однако, какая разница в отношении автора к двум забавам. Сколько скрытой боли, питающей благородный гнев, боли за поруганную душу человеческую чувствуется в словах о забаве Смекалова.

К забаве же Лучки «с собачкой, попугаем» присматривается автор с улыбкой, а ведь это ужасная по цинизму надругательства над человеческой душой сцена, хоть и «пресмешная история».

Гуманность и человечность жестоко мстят за поправленные права свои: эти слова о «собачке, попугае, ученом зверьке» кладут тень на все яркие сцены, написанные болью за человеческую личность.

Глубоко знаменательны слова изуродованного, карикатурного гоголевского Янкеля (единственные живые слова его): «Думают, уж и не человек коли жид».

Этот задавленный писк карикатуры, – разве он не говорит о том, что человечность и гуманность жестоко мстят за поправленные права свои, когда как «с собачкой, попугаем, с ученым зверьком» обращаются с человеком? Ведь это самое сильное обвинение, которое только мог бросить карикатурный Янкель своему мучителю – Гоголю.

Подобно этому, в произведениях Достоевского мы находим яркий пример того, как мстит за себя художественная правда.

** Подчеркнуто здесь и далее мной (Л. В.)

«Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других казарм посмотреть, как Исая Фомич будет справлять свой шабаш... Он с педантскою и выделанною важно-стью накрывал в уголку свой крошечный столик, развешивал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные слова, начинал облачаться в свою ризу (ризу, как он выговаривал)... На обе руки он навязывал наручники, а на голове, на самом лбу, прикреплял перевязкой какой-то деревянный ящичек, так что, казалось, из лба Исая Фомича выходил какой-то смешной рог» (Гл. IX).

Русский читатель будет после этого описания очень поражен, если узнает, что евреи никогда по вечерам и никогда по субботам не надевают филактерий («тефиллин»), так что Исая Фомич вдвойне не мог вечером, да еще в пятницу, накануне субботы, когда по еврейским верованиям уже наступает суббота, навязывать «наручники и ящичек».

Далее, «тефиллин» навязывается не на обе руки, как то делал герой Достоевского, а только лишь на одну левую; да и на ту навязывается не «наручник», а точно такой же «ящичек», как и на голову.

Это нелепое, немыслимое в действительности (у евреев не существует даже «тефиллин» для обеих рук и головы!) описание молитвы Исая Фомича очень знаменательно. Оно характеризует художественную правдивость образа Достоевского. О, теперь вы можете не верить в описание молитвы, в то, что, молясь, «вдруг среди самых сильных рыданий, он начинает хохотать».

Немезида искусства не прощает изображения неведомого: вы не верите в еврея Достоевского – он выдуман. Надо отметить, что пламенный интерес Исая Фомича к спектаклю А. Горнфельд считает «единственной некарикатурной черточкой» в нем.

Такоже «неслучайно», по мнению А. Горнфельда, эстетические элементы оттеняет Достоевский в образе другого еврея, изображенного им в романе «Бесы» (1871г.).

Мелкий провинциальный почтамтский чиновник Лямшин – талантливый музыкант и рассказчик. Однако сходство так и ограничивается «эстетическими элементами».

В то время как Исая Фомич нелепой карикатурой вышел в художественном альбоме портретов и сцен, на общем фоне шаржей и карикатур еврей Лямшин не выделяется, и его еврейское происхождение можно было бы считать совсем случайным (это тип ассими-

лированного еврея, говорящего вполне правильно по-русски и не имеющего ничего общего с еврейством, никакого отношения к нему), если бы не некоторые специфически национальные черты характера, которые должны же по шаблону быть у каждого еврея.

Мелкий почтамтский чиновник «жидок Лямшин», один из «бесов», участник революционного убийства, конечно, вместе с тем и ростовщик.

Об этом упомянуто вскользь; это не имеет никакого отношения к действию романа; это его ростовщичество случайно, оно не связано с интригой романа, не вызвано ходом развития его характера.

В остальном Лямшин – равный среди равных, безличный среди безличных, бес среди бесов, карикатура среди других злых карикатур.

Лямшин – жалкий трус, подлиза. Молва приписывает ему участие в возмутительном кощунстве над иконой Богородицы. Лямшин участвует в революционном убийстве Шатова. Но «он не вынес». После отвратительного припадка физиологического страха и подлой трусости он донес на всех и просил, «чтобы непременно его помнили и все это поставили на вид, до какой степени он откровенно и благонаравно разъясняет дело».

На художественном портрете вы всегда узнаете еврея. Карикатуре же можно придать только «горбатый еврейский нос». Таким «горбатым носом» – внешним признаком, по которому вы узнаете в карикатурном Лямшине еврея, является сопутствующее ему приложение: «жидок». Отбросьте это слово, – и вы никогда не узнаете в нем еврея. В его еврействе нет внутренней необходимости, оно лишено реального основания, оно ни внутренне, ни внешне совершенно неоправдано, оно совершенно произвольно. Его еврейство – внешняя особенность карикатуры (да и то не подчеркнутая резкой линией у Достоевского), ее «горбатый нос», – «жидок», а уж раз жидок, – стало быть, ростовщик.

Как-то Достоевский так говорит о нем: «у мерзавца действительно был талант».

Вот таким «мерзавцем» является везде приложение «жидок»: бранное слово, ругательная кличка, показывающая всю глубину презрения автора к изображенному лицу, но ничуть не указывающая на его принадлежность к еврейскому народу, на его еврейство.

«В эту пору Достоевский не видел в еврее ничего, кроме объекта презрения», – говорит А. Горнфельд.

В «Дневнике Писателя» мы находим на этот счет драгоценное указание: «Слово жид, сколько помню, — признается Достоевский, — я упоминал всегда для обозначения известной идеи» (Март 1877 года, Гл. II).

И если слова «жидовщина, жидовское царство и проч.» Достоевский упоминал для обозначения идеи с вполне определенным содержанием, то слово «жид» исключительно для обозначения всей низости героя и своего к нему отношения.

И вот, если раскрыть смысл этого сочетания «жидок Лямшин», то станет совершенно понятным то, на первый взгляд, странное обстоятельство, что в Лямшине нет даже внешних карикатурных черт еврея: и, если отбросить, повторяю, это слово, то вы не узнаете в нем еврея, в то время как не говорю уж, что Шейлока вы тотчас узнаете и без эпитета «еврей», но даже Исая Фомича и Янкеля вы узнаете без соответствующих пояснений: в них есть внешние карикатурные черты еврея. Лямшин же, и как карикатура, не еврей.

Это определение «жидок», заменяемое иногда словом «мерзавец», характерно для изображения евреев Достоевским. С ним связан «эпизодический жид», встречающийся во многих произведениях его. Характер этого «эпизодического жид» таков же, каков и в предыдущей литературе, например у Тургенева. «Жид» этот не имеет прямого отношения к повествованию, о нем упоминается вскользь и именно в том смысле, о котором я говорил выше. Он не принимает никакого участия в развитии действия; он появляется и мгновенно исчезает; он мелькает как метеор; он обычно описывается в числе обстановки. К нему с тем же успехом (и почти не нарушая смысла) может быть приложен эпитет «полячек», который тоже в виде эпизодического полячка встречается у Достоевского, например, в «Преступлении и наказании».

По Достоевскому, «полячек» — это обязательно нечто подлое, льстивое, трусливое, вместе с тем спесивое и наглое», — говорит В. Жаботинский («Русская ласка»).

Как видите, это очень близко подходит к характеру Лямшина, это блестящее раскрытие смысла слова «полячек», и если бы в него не входило слово «спесивое», оно бы покрывало понятие «жидок», которое тоже есть «обязательно нечто подлое, льстивое, трусливое, вместе с тем и наглое». Нельзя дать лучшего определения, более исчерпывающей характеристики Лямшина. Итак, вместо «жидок Лям-

шин» — «полячек Лямшин». А «эпизодические жидки» и «полячки» совершенно покрывают друг друга.

Эпизодический жид встречается почти во всех романах Достоевского: в «Преступлении и наказании», в «Братьях Карамазовых», «Идиоте», «Подростке» и во многих рассказах, и везде, разумеется, в соответствующей окраске, что должно быть совершенно понятно, после того, как я раскрыл тайну слова «жид».

Приведу несколько примеров этого «эпизодического жид».

В «Преступлении и наказании» (ч. VI, гл. VI) описываются странствия Свидригайлова «по разным трактирам и клоакам». Он связался с двумя писаришками, которые увлекли его в какой-то увеселительный сад. В саду писаришки поссорились. «Вернее всего было то, — говорит Достоевский, — что один из них что-то украл и даже успел тут же продать какому-то подвернувшемуся жиду: но, продав, не захотел поделиться со своими товарищами. Оказалось, наконец, что проданный предмет была чайная ложка».

Или в романе «Подросток» читаем: «Подле меня, слева, помешался все время один гниленький франтик, я думаю из жидков» (ч. II, гл. VI).

Или там же при описании аукциона читаем: «... были и купцы, и жида, зарившиеся на золотые вещи» (ч. I, гл. III).

И т. д., и т. д... Жид, жида, жиду...

Я привел случайные отрывки из двух романов, при желании я мог бы продолжить эти выдержки. Во всяком случае, уже из вышеприведенных отрывков ясно обрисовывается характер эпизодического жид и смысл слова «жид».

Человек, покупающий краденую чайную ложку; «гниленький франтик» — картежный шулер; человек, зарившийся на золотые вещи, — все это, по терминологии Достоевского, обозначается словом «жид». Не забывайте, что слово это он употребляет для обозначения известной идеи!

В заключение, для контраста со всем сказанным выше, но не для опровержения его, я приведу сцену из «Преступления и наказания», единственную художественную сцену, участником которой является еврей. Это единственный живой «эпизодический жид», в которого вы верите. Эта отмеченная искрой подлинной художественности сцена, конечно, нисколько не опровергает всего того, о чем

выше говорил. Наоборот, она еще больше оттеняет претенциозность и нехудожественность вышеприведенных сцен.

Критик, говорящий о произведениях художественной литературы и выбравший критерием для своей оценки исключительно эстетическую их законность, поставлен бывает порой в очень затруднительное положение. Ни доказательств, ни подтверждений своим суждениям он привести не может. Доказать, что данная картина нехудожественна, а другая, наоборот, очень ценна в эстетическом отношении, нельзя. Не сумел, конечно, и я доказать, что образы евреев у Достоевского нехудожественны.

II

«Это был, если уж нельзя отвязаться от неприятного слова, всемирно-исторический публицист, интересы которого были вне своего дня, зов которого был обращен к векам и народам, взор – обращен в вечность», – говорит о Достоевском В. Розанов («Ф.М. Достоевский»). Критико-биографический очерк).

«Его глубокая публицистика, – говорит о Достоевском критик Ю. Айхенвальд, – является у него *sub specie aeternitatis*».

И – странное дело! – в художественных произведениях своих, изображая евреев, гениальный художник так был подвержен «интересам своего дня»; «всемирно-исторический публицист», он говорит о еврейском вопросе в публицистических произведениях своих так, что ясно становится, что интересы его вне его дня. При рассмотрении еврейского вопроса «его зов обращен к векам и народам, его взор – в вечность». Он еврейский вопрос рассмотрел *sub specie aeternitatis*.

В этом то новое и глубокое слово, которое сказал Достоевский об этом сложном вопросе. Рассмотрим, каково это слово.

«С некоторого времени» Достоевский стал получать письма от евреев (теперь установлено, что корреспонденты-евреи, которых Достоевский цитирует, никто иные как А. Ковнер, Т.В. Лурье и Сара Лурье), в которых корреспонденты с горечью упрекали его за то, что он нападает на «ожид». «Я намерен затронуть один предмет, который я

* Как было указано в предисловии составителя эта статья не была завершена автором, что видно, в частности, из отсутствия обещанного фрагмента из «Преступления и наказания».

решительно не могу себе объяснить, – пишет один из этих корреспондентов Достоевскому. – Эта ваша ненависть к жидам, которая проявляется почти в каждом выпуске вашего «Дневника».

Надо сказать, что при всяком удобном случае Достоевский напал на евреев; «ожиды», «ожидишки», «ожидки», «ожидовствующие», «ожидоветь», – эти слова почти не сходят со страниц «Дневника писателя». «Все такие намеки и указания, там и сям рассыпанные в «Дневнике», произвели впечатление на еврейских читателей и побудили некоторых из них вступить с ним в переписку» (А. Горнфельд). В ответ на эти упреки Достоевский написал о еврейском вопросе статью, которая появилась в номере «Дневника писателя» за март 1877 года (главы II и III)*.

В этой статье Достоевский со свойственным ему «болезненным пафосом убежденности» (А. Горнфельд) сперва отвечает на упреки и нападки, мимоходом затрагивает много тем, связанных с более детальным разбором еврейского вопроса, и попутно высказывает несколько суждений о еврейском вопросе *sub specie aeternitatis*.

«О не думайте, что я действительно затеваю поднять «еврейский вопрос», – начинает он свою статью. – «Я написал это заглавие в шутку». (Замечу в скобках, что заглавие это «Еврейский вопрос» взято у него в кавычки). «Поднять такой величины вопрос я не в силах». Прежде всего, Достоевский хочет снять с себя упрек в ненависти к еврейскому народу. «Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз и навсегда».

Это важно, это ценно. Однако так ли это? Я хочу сказать, не ошибался ли Достоевский (намеренной неискренности нельзя допустить) в отношениях своих к еврею, не принимал ли он своего сознательного желания не ненавидеть за отсутствие ненависти? Я думаю, что так оно именно и было.

«Уж, не потому ли обвиняют меня, – говорит он, – в «ненависти», что я называю иногда еврея «ожидом»? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово жид, сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: «ожид, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тут обозначалось извест-

* На эту статью я буду ниже ссылаться, указывая лишь названия отдельных частей ее.

ное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаясь с нею, но не обижаться словом» («Еврейский вопрос»). Конечно, не в одном употреблении слова «жид» сказалась ненависть Достоевского к евреям, но, между прочим, и в этом, как бы он сам ни отрицал это. Во-первых, не иногда он называет еврея словом «жид», как он это говорит, а наоборот иногда, в очень редких случаях (главным образом, в этой лишь статье, где он пытается снять с себя обвинение в ненависти, но и здесь очень часто встречается слово «жид»), он слово «жид» заменяет словом «еврей». Во-вторых, он говорит: «я не думал, чтоб это было так обидно». Как это надо понять: так ли, что, зная, что это обидно, он не думал, чтоб до такой уж степени; или так, что не думал вовсе, чтоб это было обидно. В первом случае – о степени обидности говорить трудно, это дело субъективное (кстати, ведь знает Достоевский, что «трудно найти что-нибудь раздражительнее и шепетильнее образованного еврея»), но я думаю ниже показать, что это именно «так» обидно. Во втором случае надо сказать, что эти слова явно и сознательно – неискренни. В самом деле, когда Достоевский употребляет слово «жид» для обозначения определенной идеи, – по его мнению, не следует «обижаться словом», но ведь словом этим обозначает он идею слишком определенную. Я не стану здесь определять, в чем суть этой идеи – она в общих чертах ясна каждому, и еще одно несомненно ясно каждому, – если кому-либо (народу или отдельному лицу) приписать идею «жидовства», или его собственным именем обозначить эту идею, – ему есть на что обижаться и даже «так» обижаться. Во-вторых, – и это главное – слово «жид» Достоевский употреблял для обозначения идеи, «сколько помнит», а сколько раз, чего он не помнит, он употреблял его для обозначения определенных лиц, влагая в это слово столько шипящей ненависти и презрения, а часто (о, очень часто!) употреблял он это безобидное слово, как я на это указал выше, не в смысле лица еврейского происхождения, а в смысле ругательного слова (например, его замечания о последних подлецах, «вероятно, из жидков»), часто заменяя его в свою очередь словом «мерзавец» (Лямшин)!

И еще одно несомненно: если в этом смысле употребляют чье-либо собственное имя (народа или отдельного лица), ему есть на что обижаться и даже «так» обижаться. «Ваше презрение к жидовскому племени, которое «ни о чем кроме себя не думает» и т.д., и т.д., оче-

видно», – пишет ему еврейская девушка. И сколько бы он «против этой очевидности» ни восставал, сколько бы ни оспаривал самый факт, его презрение к жиду очевидно.

О, Достоевский знает, что в отношениях двух народов – русского и еврейского – мало утешительного для тех и других! «Я только хочу указать, – говорит он, – что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть и не один русский народ, и что скопились эти мотивы с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени».

Все это так, но во-первых, хочу подчеркнуть слова: «неизвестно, на какой стороне в большей степени» (Достоевский дальше в пылу спора перегибает палку в другую сторону и утверждает, что виновны почти исключительно евреи), во-вторых, никаких выводов относительно дарования равноправия отсюда делать нельзя (Достоевский их делает).

Следующая глава носит название «Pro и contra», но в ней излагает Достоевский, главным образом, доводы contra.

Во-первых, – и это главный довод Достоевского – «нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество». Между тем, «они царят в Европе, они управляют там биржами» и т.д. Поэтому Достоевский «не может вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены и принижены». «На мой взгляд, – говорит он, – русский мужик, да и вообще русский простолюдин несет тягостей чуть ли не больше еврея».

Корреспондент Достоевского настаивает на том, что «прежде всего, необходимо предоставить им (евреям) все гражданские права». «Подумайте, – говорит он, – что они лишены до сих пор самого коренного права: свободного выбора местожительства, из чего вытекает множество страшных стеснений для всей еврейской массы».

«Но подумайте и вы, г. корреспондент, подумайте только о том, что когда еврей терпел в свободном выборе местожительства, тогда двадцать три миллиона «русской трудящейся массы» терпели от крепостного состояния; что, уж, конечно, было потяжелее «выбора местожительства». И что же, пожалели их тогда евреи? Не думаю: в Западной окраине России и на Юге вам на это ответят обстоятельно. Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел

сам русский народ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики, и что когда им дадут больше прав, «тогда и спрашивайте с нас исполнения обязанностей к государству и коренному населению». Но вот пришел Освободитель и освободил коренной народ, и что же, кто первый бросился на него, как на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплел его вековечным золотым своим промыслом, кто тотчас же заместил, где только мог и посмел, упраздненных помещиков, с тою разницей, что помещики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтоб не истощить рабочей силы, а еврею до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел».

И в доказательство Достоевский приводит две им прочитанные заметки: одну из «Вестника Европы» о том, что евреи в Америке «уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим «золотым промыслом» и пользуясь неопытностью и пороками «эксплуатируемого племени; вторую (корреспонденция из Ковно) из «Нового Времени» о том, что евреи «набросились на местное литовское население», и т.д.

О, конечно, Достоевский не выставляет этих двух известий «за такие уж решающие и капитальные факты». Но «если начать писать историю этого всемирного племени, то можно тотчас же найти сто тысяч (*excusez du peu!* – Л.В.) таких же и еще крупнейших фактов; так что один или два факта лишних ничего особенного не прибавят, но ведь что при этом любопытно: любопытно то, что чуть лишь вам – в споре ли, или просто в минуту собственного раздумья, чуть лишь вам понадобится справка о евреях и делах его, – то не ходите в библиотеки для чтения, не ройтесь в старых книгах или собственных старых отметках, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя с места, не подымаясь даже со стула, протяните руку к какой-нибудь первой, лежащей подле вас газете, и поищите на второй или третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях и непременно самое характернейшее и непременно одно и то же, – т.е. все одни и те же подвиги!» (Замечу в скобках: предостерегаю читателей, могущих поддаваться совету Достоевского и протянуть руку к первой газете. Такой опыт сейчас очень опасен. О, конечно, вы тоже на «второй или третьей странице» найдете «непременно самое харак-

тернейшее» для положения евреев в России – и «непременно одно и то же», но я боюсь, я очень боюсь, что это «что-нибудь о евреях» будет совсем не то «что-нибудь», о котором говорит Достоевский, и – я убежден, – Вам придется найти прямо противоположное «что-нибудь»).

«Так ведь это, согласитесь сами, – продолжает Достоевский, – что-нибудь да значит, что-нибудь да указывает, что-нибудь открывает же вам, хотя бы вы были круглый невежда в сорокавековой истории этого племени. Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут. Конечно, очень может случиться, что все до единого лгут, но в таком случае рождается тотчас другой вопрос: если все до единого лгут и обуреваемы такой ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть, «ведь что-нибудь значит же слово все!» как восклицал некогда Белинский».

О, конечно, «что-нибудь» значит, но отнюдь не то, что думал Достоевский!

Странно звучат после вышеприведенных строк категорические утверждения Достоевского: «Пусть я не тверд в познании еврейского быта, одно то я уже знаю наверно и буду спорить со всеми, – именно: что нет в нашем простонародье предвзятой, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев, – и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их. Когда они молились (а евреи молятся с криком, надевая особое платье), то никто не находил это странным, не мешал им и не смеялся над ними, чего, впрочем, именно надо было бы ждать от такого грубого, по нашим понятиям, народа, как русские; напротив, смотря на них говорили: «Это у них такая вера, это они так молятся» и проходили мимо со спокойствием и почти с одобрением. И что же, вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? – в остроге!) и вообще выражали гадливость и брезгливость к русскому, к «коренному» народу. То же самое и в солдатских казармах, и везде по всей России: наведаетесь, спросите, обижают ли в казармах еврея как еврея, как

жида за веру, за обычай? Нигде не обижают и так во всем народе. Напротив, уверяю вас, что и в казармах, и везде русский простолюдин слишком видит и понимает (да и не скрывают того сами евреи), что еврей с ним есть не захочет, брезгает им, сторонится и ограждается от него, сколько может, и что же, — вместо того, чтоб обижаться на это, русский простолюдин спокойно и ясно говорит: «это у него вера такая, это он по вере своей не ест и сторонится» (т.е. не потому, что зол и, сознав эту высшую причину, от всей души извиняет еврея).

Снявши с себя обвинение в ненависти к еврейскому народу, Достоевский хочет снять это обвинение и со всего русского народа. Удастся ли это ему? Я думаю, что нет. Сам он показал обратное в своих произведениях. И — как характерно, — что не только герои его художественных произведений, а сам он не понимает этой «высшей причины», по его словам, благодаря которой еврей сторонится, и сам он бросает за это обвинение еврею, хоть и говорит, что русский простолюдин сознает эту «высшую причину». Достоевский ее не сознает.

Достоевский утверждает, что в остроге никто не презирал евреев, никто не смеялся над ними, никто не находил странными их молитвы. Вот каторжный острог в «Записках из Мертвого дома» и вот Исая Фомич Бумштейн, еврей среди «коренного» народа. Как же, как относится к нему «русский простолюдин»? «Решительно все без исключения смеялись над ним», — говорит Достоевский (глава IV). Правда, дальше (глава IX) Достоевский говорит: «Мне очень странно было, что каторжные вовсе не смеялись над ним (что, замечу в скобках, очень уж странно звучит после вышеприведенного утверждения да еще в такой категорической форме) разве только подшучивали для забавы». Когда он пришел в первый раз в острог «кругом него раздавался смех и острожные шуточки, имевшие в виду его еврейское происхождение». О, после этого вы можете не верить, когда Достоевский утверждает, что нигде не обижают «еврея как еврея, как жида». Но вот диалог (арестант Лучка часто дразнил его для забавы):

«— Эй, жид, приколочу! — Парх проклятый! — Жид проклятый! — Христа продал!»

О, милые шутки, о, невинная забава! О, не «проходили мимо со спокойствием и почти с одобрением», как утверждает в «Дневнике» Достоевский, когда молился Исая Фомич, а «нарочно ходили из других казарм посмотреть, как Исая Фомич будет справлять свой шабаш». «Это у них такая вера, это они так молятся», по словам Досто-

евского в «Дневнике Писателя», говорили арестанты. А в «Записках из Мертвого дома», слушая молитву Исая Фомича, они говорили: «Ишь его разбирает». И вы помните, что во время молитвы Исая Фомича, майор «фыркнул от смеха, назвал его тут же в глаза дураком», а в «Дневнике» Достоевский утверждает, что молитв «никто не находил странными».

Он утверждает, что «нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею в роде: «Иуда, дескать, Христа продал». О, если бы это было так! Русская литература дает доказательства как раз обратного. Вы помните, что герои тургеневского «Жида» улыбались невольно, когда Гиршеля тащили на виселицу: так смешно кричал он, такие уродливые были прыжки его, телодвижения. И вы помните страшную («Дыбом стал бы ныне волос, — говорит Гоголь, — от тех страшных знаков свирепства полудикого века») картину еврейского погрома, учиненного казаками («Тарас Бульба»), когда казаки видели лишь «жалкие рожи, исковерканные страхом» и когда казаки топят жидов «ожидовские ноги в башмаках и чулках болтаются в воздухе». И вы помните бытовую картинку из «Записок охотника» («Конец Чертопханова»), изображающую, как крестьяне бьют жида ни за что, ни про что, просто как еврея, за то, что «Христа распял».

И если вы это помните, — вы очень и очень усомнитесь в словах Достоевского. Не стану разбирать все эти доводы Достоевского, его утверждения и, главным образом, его обвинения, возводимые на еврейский народ. Правда, можно было бы указать, что уединение евреев имеет, по собственным словам Достоевского, «высшую причину»; что из того, что евреи «заместили помещика» вовсе не следует, что им не надо дать равноправия, а наоборот из-за стеснения в выборе местожительства. Но все это вопросы особые, исторические и экономические, и уж по одному тому не могут быть здесь разобраны. Но и, кроме того, все это нападки обычные, банальный антисемитизм. И как читатель успел заметить без сомненья, что это обычные утверждения, и не в них новое слово, сказанное Достоевским о еврейском вопросе. Это интересно лишь с психологической стороны: это характеризует его отношение к еврейскому народу. Он утверждает, что он не нападает на евреев, как на нацию, как на народ (я старался показать, что это неверно), но в этой статье он подряд нападает на евреев как на народ. Он утверждает, что в сердце русского народа нет ненависти, но, во-первых, только простонародья, а во-

вторых, он сам ссылается на эту ненависть и говорит, что что-нибудь ведь и она значит. Не стану разбирать доводов о равноправии, – в них нет своего, нового, но хочу указать, что и эти суждения очень характерны для двойственного отношения к евреям Достоевского.

«Все, что требует гуманность и справедливость, все, что требуют человечность и христианский закон – все это должно быть сделано для евреев», – говорит Достоевский. И дальше: «Я окончательно стою за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением (N.B. Хотя, может быть, в иных случаях, они имеют уже и теперь больше прав или, лучше сказать, возможности ими пользоваться, чем само коренное население). Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия: [ну, что если пошатнется каким-нибудь образом и от чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бедного коренника-мужика от стольких зол, – ну, что если тут же к этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умеющему сдерживать себя от соблазна и которого именно опекала доселе община, – нахлынет всем кагалом еврей – да что ж тут: тут мигом конец его: все имущество его, вся сила его перейдет назавтра же во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравняться пора крепостничества, но даже татарщина.]. (Дневник писателя за 1877 г. // Полн. собр. соч. Т. XXV. С. 86).

Так что, если резюмировать доводы Достоевского, получится следующее: евреям права надо дать, но что будет с крестьянами и т.д. Повторяю это интересно с психологической лишь стороны, т.к. показывает его двойственность. Или разбирать надо доводы той и другой стороны: еврей-корреспондент доказывает, что русские кулаки не лучше евреев, а Достоевский возражает: да, но русские страдали не меньше евреев. Достоевский говорит: «О, они кричат, что они [еврей] любят русский народ», а между тем из самих писем их явствует и «ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских». Вопрос о взаимоотношениях русских и евреев очень сложен и мы здесь вовсе не намерены поднять его. Во всяком случае, Достоевский утверждает, что в простонародье нет ненависти, а дальше говорит, что в «интеллигентном слое русского народа не раз уж раздавались голоса за евреев». Не станем здесь разбирать нападок на еврейский народ за то, что он не раскаивается в том, что

«брал на откуп русский народ». Но вот что важно, вот что замечательно: Достоевский сам считал, вероятно, что и его голос раздался за евреев («все, что требует гуманность и справедливость» и т.д.), а между тем из моего разбора ясно, что, несмотря на то, что Достоевский точно и определенно утверждает, что в сердце его нет ненависти к еврейскому народу, представляет собой антисемита, ненавидящего еврейский народ. И это отношение символично для всей, за немногими исключениями, русской интеллигенции, конечно, лишь в ее отношении к еврейскому вопросу. Пусть Достоевский принадлежал к консервативному ее крылу, – благодаря этому только резче выразилась его двойственность, – но его двойственное отношение к еврейскому вопросу символично для всей почти русской интеллигенции. Оно и понятно: доросший до известного интеллигентного уровня человек уже не может принять стадно-стихийную идеологию «бытового антисемитизма», он отрекается от клички антисемита, он заявляет, он должен заявить, что он за евреев, но обывательский инстинкт силен и он, не признаваясь в том открыто, антисемит. Так было с Достоевским. И это, повторяю символично. И вот хочу отметить характерную черточку: в статье своей Достоевский, между прочим, замечает: «Образованные евреи, т.е. из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее), которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они, при своем образовании, давно уже не разделяют «предрасудков» своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи, считают это ниже своего просвещения, да и в Бога, дескать, не веруем».

Вы заметили, как в двух словах гениально схвачен, как художественно намечен тип и кем – Достоевским, которому не удалось даже наметить ни одного еврея. Вы в этих словах видите очень распространенный, бытовой тип 60-х и 70-х годов. Но это неудивительно: Достоевский их видел, с ними встречался в Петербурге, вот поэтому, зная их, ему и удалось его написать. О, это не ростовщик, и человек вовсе не такой уж порочный и не смешной вовсе человек, как все герои-евреи Достоевского, а все это потому, что этот тип был знаком Достоевскому.

Характерно, что Достоевский утверждает в пылу спора всегда обратное действительности. Например, русский вовсе не свободен в выборе местожительства. «А что до евреев, то всем видно, что права их в выборе местожительства весьма и весьма расширились в по-

следние двадцать лет. По крайней мере, они явились по России в таких местах, где прежде их не выдввали». И еще: не русский народ притесняет евреев, а наоборот евреи русских. Но как характерно, что для этого Достоевскому понадобилась фантазия. «А между тем мне иногда входила в голову фантазия: [ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их трети-ровали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления?]] («Дневник писателя», с. 80). И еще: Достоевский, хоть и знает, что «в русском народе есть, м.б., несимпатия к нему [еврейскому народу] особенно по местам, и даже, м.б., очень сильная», но во всем виноват сам еврей, ибо в русском нет ненависти, а еврей-простолудин презирает русского.

В интеллигентном слое русского народа все за евреев, а образованные евреи плохо к русским относятся.

Во всех этих нападках Достоевский заходит слишком далеко. И главное – это его двойственность: утверждая, что он на евреев как на народ не нападает, он нападает на них в этой же статье. Послушайте только: «Еврей, где ни появлялся, [там еще пуще унижал и развращал народ, там еще больше прикидало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние] («Дневник Писателя», с. 83).

И пусть он очень ошибался и много нехорошего сказал об евреях, много неверного, противоречивого сказал об отношениях двух народов. Пусть не прав он в крайних выводах своих, но, исходя из основной мысли своей, он сказал много верного и глубокого. И вот надо отобрать «пшеницу от плевел» в словах Достоевского о евреях, отбросив (о, с психологической стороны все это очень любопытно) все неверное, в пылу спора сказанное, разобрать все новое и глубокое и подумать о выводах из этого. А потому я еще раз приведу основную мысль Достоевского.

«Но, несмотря[на все «фантазии» и на все, что я написал выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравнивание прав, – потому что это Христов закон, потому что это христианский принцип. Но если так, то для чего же я исписал столько страниц и что хотел вы-

разить, если так противуречу себе? А вот именно то, что я не противуречу себе и что с русской, с коренной стороны нет и не вижу препятствий в расширении еврейских прав, но утверждаю зато, что препятствия эти лежат со стороны евреев несравненно больше, чем со стороны русских и что если до сих пор не создается того, чего желалось бы всем сердцем, то русский человек в этом виновен несравненно менее, чем сам еврей»] («Дневник Писателя», с. 86). Виновны евреи. И восклицая «Да здравствует братство», Достоевский сомневается, «насколько евреи способны к новому и прекрасному делу настоящего братского единения с чужими им по вере и по крови людьми». Он говорит «нужно брататься с обеих сторон», он говорит «за русский народ поручиться можно» и он убежден, что еврей неспособен. А потому его призывы [«Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей»] («Дневник Писателя», с. 87)], он заканчивает сомнениями: способны ли евреи? И вот здесь-то, говоря о том, почему евреи неспособны к этому, Достоевский выдвигает уже не обычные шаблонные, банальные (им же выдвинутые прежде) мысли, а новые, глубокие, в которых он проникает в глубь еврейского вопроса.

Прод[олжение] следует.

Приложение

ЕВРЕИ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

[Черновой план статьи]

I. «Антисемитизм художественный»

Отношение русской литературы к еврею; изображение еврея русскими писателями. «Еврейский шаблон»; его происхождение – еврей в жизни и литературе средних веков. Оценка этого шаблона с художественной точки зрения; – обычная ошибка, допускаемая при этом /вина перед еврейством/, ее опровержение, шаблон еврейки. – Еврей-герои художествен. произвед. Достоевского. Общая их оценка /карикатурность их/. – Бумштейн. Отношение к нему автора. Черты «евр. шаблона». Отсутствие художествен. правды в его изображении – /пример – отсутствие даже жизненной правды/. Эстет. элементы. – Лямшин. Неоправданность его еврейства. Черты «евр. шаблона». Сходство и различие с Бумшт. Смысл его еврейства. – «Эпизодический жид». Его характер в предыд. литературе. Сопоставление его с «эпизод. полячком». Примеры и общий смысл этого «жида». – Сцена смерти Свидригайлова /«Прест. и нак.»/, ее художественная оценка; ее символ. смысл; художеств. сила. – Неравномерное распредел. художеств. силы в изображении евреев Достоевским.

II. Антисемитизм бытовой

Бытовая подкладка художествен. антисемитизма. «Евр. шаблон» как продукт народного творчества. – Бытовой антисемитизм Дост. как подкладка его худож. антисем-ма. Общее мнение /формула Горнфельда/, его достоинства и недостатки. Оправдание его. Априорное определение ант-ма Дост. Переписка его с евр. Характерист. его корреспондентов. Нападки их /общая формула/. Возражение Дост. – отрицание им своего ант-ма. Правдивость его отрицаний. Употребл. слова «жид» как показатель его отношения к евреям. Идеология бытового ант-ма Дост.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ) 1841-1916

Статья двадцатилетнего Л.С. Выготского о М.Ю. Лермонтове была опубликована в Москве в журнале русско-еврейской интеллигенции «Новый путь» (1916, № 28). В этом журнале, в 1916 – 1917 гг., было опубликовано несколько очерков Выготского. Статья была подписана «Л.С.», не вошла ни в одно издание сочинений Выготского, и только недавно была перепечатана в тельавивском журнале «Двадцать два» (1995, № 96) с интересными комментариями проф. Р.Д. Тименчика.

Лермонтов своим отношением к еврейскому вопросу и характером разработки еврейской темы являет странное исключение на общем однообразном – в этом смысле – фоне русской литературы. Он является как бы нарушителем прочно сложившейся и установившейся традиции; и теперь, когда эта традиция окончательно и бесповоротно нарушена, когда, отказавшись от нее совершенно, порвав в этом отношении с прошлым, литература идет к новым путям – в наши дни особенно уместно вспомнить о нем и остановиться на его своеобразных и не усвоенных еще в достаточной мере заветах. Это своеобразие Лермонтова становится особенно ясным в связи с другим исполнившимся в этом месяце юбилеем – столетием со дня кончины другого поэта, родоначальника упомянутой выше традиции, – Г.Р. Державина.

Еще Пушкин определил долго державшееся потом в литературе традиционное отношение к еврею: «презренный еврей». Если взять образы евреев в художественной литературе со стороны авторского отношения к ним, если раскрыть их внутреннее содержание, то справедливость и крылатая меткость пушкинских слов становятся

очевидными. От Державина до чеховского периода тянется нить этой традиции и здесь как будто обрывается. В середине пути она обрывается на имени Лермонтова.

Будущий историк еврейства в России, как перед загадкой, с недоумением остановится перед отношением русской литературы к еврею. И странно, и непонятно: выдвинувшая принципы гуманности, развивающаяся под знаком человечности, она так мало внесла человеческого в изображение жида; в нем художники никогда не чувствовали человека. Вот почему безжизненная механичность марионетки, которая смешными движениями и жестами должна насмешить зрителя, подменила подлинное воплощение художественного образа штампованным трафаретом, шаблоном жида. Вот откуда полнейшее, доходящее порой до полного тождества, сходство жидов у совершенно различных авторов. Достоевский признается, что его герой удивительно напоминал ему Гоголеву жидка Янкеля, был схож с ним, как две капли воды. Традиция сглаживает все различия, уравнивает все особенности: всегда и везде жид есть олицетворение низкого, темного, пресмыкающегося, жадного, гнусного, презренного, олицетворение человеческих пороков вообще и специфически национальных в частности (шпион, предатель, ростовщик и пр.), причем смешное есть неперемнное качество этого образа.

И вот на этом однообразном фоне запечатлены не похожие ни на кого, удивительные образы. В то время, как еврей всегда и всех только смешил, когда Гоголь подметил смешное даже в еврейском погроме, Достоевский высмеял молитву жида, а Тургенев сказал последнее слово и изящно посмеялся над жидом, приговоренным к смертной казни, и оправдал «невольную улыбку» свидетелей казни, когда в литературе безраздельно господствовал театральный афоризм Ал. Дюма: «общепризнанно, что еврей на сцене всегда должен быть смешон», – в это время Лермонтов посвящает евреям трагедию, избирает евреев ее предметом, их жизнь – ее темой, жида – ее героем («Испанцы», 1830). В мрачном, но величественном свете трагедии видел он (к сожалению, только видел, а не воплотил) образы евреев, услышал слезы там, где слышали другие только смех, узрел трагические лики там, где все другие с легкой руки Гоголя видели только «жалкие рожи, исковерканные страхом». В трагедии есть всегда что-то высокое, предельное, последнее и величественное, даже нездешнее: и в этом подходе к еврейской теме, в пафосе трагического за-

мысла, в новом совершенно чувстве, новом устремлении художественной интуиции, в самом задании трагедии о евреях – то новое слово, которое сказал Лермонтов и которое еще до сих пор не услышано.

Оно до того неожиданно прозвучало, раздалось таким резким диссонансом, что невольно заставляет, помимо художественного чувства, творческой интуиции замысла, почувствовать за ним могущественное влияние: здесь иная традиция – Байрона, Лессинга, Вальтера Скотта. Правда, и Лермонтов не совсем отказался от традиции русской; и у него есть жид-шпион, смерть которого описана так: «И многие, вздохнув сказали: «Жалкий, несчастный жид, он умер не под палкой!» («Сашка», 1835 – 1836). Здесь связь с традицией прочная: и Гоголь связывал с жидом предателя и шпиона; и тургеневский жид-шпион, да и смерть его тоже была встречена невольными улыбками; и Пушкин приблизительно то же имел в виду, говоря: «и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие».

Встречается порой у Лермонтова подчас и слово «жид» в его специфическом значении, с традиционным непередаваемым оттенком – нечто среднее между презрительным, но конкретным обозначением народности и несколько отвлеченной идеей свойств, пороков, наклонностей. Надо изобразить человека, в котором ни по чему внешнему или внутреннему нельзя узнать еврея, но должно дать почувствовать битого не раз ростовщика, пресмыкающегося, но жадного лицемера, – и для обозначения всего этого поэт пользуется испытанным словом: «Какой он нации – сказать не знаю смело: /На всех языках говорит, /Верней всего, что жид./Со всеми он знаком, везде ему есть дело, /...Был бит не раз; с безбожником – безбожник, /С святошей – иезуит, меж нами злой картежник». А главное: «Лишь адресуйся – одолжит» («Маскарад», 1834-1835). Ну как же после этого не жид? Достоевский негодовал на то, что его подозревали в неприязни к еврейству из-за употребления слова «жид» вместо «еврей». Это слово, пояснил он, он употреблял для обозначения известной идеи, понятия, направления, характеристики века. В этом смысле и воспользовался словом Лермонтов. Но именно в этом и видно глубокое его своеобразие. Ясно ведь, какую идею, какое понятие вкладывали в это слово, какое отношение в нем сказывалось; неудачность оправдания Достоевского очевидна.

Только в редких случаях пользуется Лермонтов этим смыслом слова «жид»; почти всегда это слово по значению равняется слову

«еврей». Так, в трагедии «Испанцы», в «Балладе» (1832) оба слова чередуются, употребляются в совершенно одинаковом значении; самый характер обоих этих произведений исключает всякую возможность иного смысла.

Еще одной стороной Лермонтов близко подходит к старому шаблону. Известно, что не только образы евреев, но и евреек создавались по шаблону, только по совершенно иному. Уловили ли писатели в незнакомой красоте еврейки черты, достойные удивления, а не смеха, или просто, по природе вещей, женщина не могла играть той же роли, что и «жид», но ей была отведена роль иная; правда, не менее трафаретная, не менее незаконная с точки зрения художественной правды, но иная. Еврейка обыкновенно наделялась всевозможной обольстительностью. «Все еврейки привлекательны (в литературе) — так уж установлено традицией, — формулирует Леруа-Болье. — По отношению к ним антисемитов, кажется, не существует».

Жидовки Лермонтова тоже обольстительны.

Его Тирза («Сашка») нуждается в этом имени только для придания ей черт особенной, удивительной красоты, незнакомой и чуждой, в противоположность простой и обыкновенной привлекательности Варюши. Но и здесь, даже в этом черты сходства видимые и случайные, а различие глубокое и определенное. «Баллада» (1832), посвященная трагической любви молодой жидовки к русскому, построена не на внешнем и случайном облике героини. В ней образ жидовки окружен таким ореолом мрачной муки, роковой любви, трагической смерти и мести, и все это таким образом связано с «законом Моисея», что здесь уже вполне сказывается тот новый подход к еврейской теме, о котором мы говорили выше. Поэт понимал, что народ, потерявший свою звезду, обреченный на мрак в земном краю, который «все с ней потерял» и без дум, без чувств среди долин «ищет» тень следов ее, может только плакать («Плачь, плачь Израиля народ...», 1830). Вот почему так удивительно сочетается с его настроением образ еврея. Задушевные песни поэта, интимная лирика его души есть в то же время еврейская мелодия душевного мрака. («Еврейская мелодия», 1836).

Другая «Еврейская мелодия» (1830) Лермонтова, непонятно почему так названная, посвящена уже исключительно личной мысли и настроению поэта и даже отдаленным образом, даже внешне не связана ни с чем еврейским. И вот самый факт, самое звучание в лер-

монтовской лирике еврейских мелодий, как и замысел трагедии, явление в русской литературе столь же удивительное, новое, ни на что не похожее, сколь знаменательное и характерное. Правда, в отмеченных выше мелодиях и в балладе никаких новых, высоких достижений ни в смысле собственно еврейской темы, ни вообще в художественном отношении нет, за исключением разве стихов «Душа моя мрачна...», обладающих высокими достоинствами.

То же, что о лирике, следует сказать и о трагедии. Здесь тоже значителен подход к теме, а не ее воплощение, задание, а не данное, замысел, а не достижение. Оценка трагедии не вызывает разногласий: не лишенная некоторых сценических достоинств, пьеса, написанная под явным влиянием В. Скотта, Шиллера, Лессинга, Байрона, часто с явными подражаниями, ни в коем случае не может быть названа достойной Лермонтова и интересна лишь постольку, поскольку выявляет невоплощенный замысел поэта. Еврен здесь изображен в эпоху инквизиции в трагическом свете страданий и роковой обреченности.

Еврей, благородный Фернандо, не знающий о своем происхождении, воспитанный испанцами, вступает в конфликт с ними на почве любви его к дочери спасшего его Алвареца. Случайно спасает он жизнь Моисею, неузнанному отцу своему, который, в свою очередь, спасает неузнанного же сына, когда последний попадает в руки подкупленных наемных убийц. Патер Соррини, пытавшийся овладеть Эмилией, после того, как она падает мертвой от руки Фернандо, предаст последнего во власть инквизиции. Перед казнью открывается тайна его рождения, он узнает отца, узнает, что он еврей, Ноэми, сестра его, сходит с ума. Фернандо ведут на казнь. На этом трагедия обрывается. Здесь, конечно, взята внешняя трагедия еврея; — ее мотивы подчас элементарны, как и апология еврейства: испанцы представлены в непривлекательном свете; евреи взяты под поэтическую защиту; Фернандо благороден, как и Моисей; лицемерному иезуиту противопоставлен глубоко религиозный еврей; когда Фернандо спасает Моисея, последний восклицает: «Клянусь Ерусалимом, что он не христианин». В конце это оправдывается.

Благородное мщение и гордость гонимых и презираемых евреев — все это мотивы внешние, но дальше этого внешнего в трагедии еврейства не шла даже европейская литература. Даже великий Шейлок, которого спас могучий бессознательный гений автора, восторжествовавший над его сознательной тенденцией и вынесший еврея из поля смешного и комического, даже этот Шейлок не вознесся до

подлинного трагизма. В пьесе не веет трагическим духом; она развивается в плоскости внешней драматичности. А ведь это вершина поэзии о еврействе. У Лермонтова же это еще только первый, не оправданный доселе, порыв русской литературы. Но, однако, замысел трагедии осложнен и иными, более глубокими мотивами: поэт чувствовал за этой трагедией – трагедию Израиля, племени, рассеянного в пустынях, его слезы, его стон, голос его муки, не только закон Моисея, но самый голос крови Израиля, его обреченность, безволие, бессилие и упавшую на него тень гибели. «Мой сын... Я чувствовал, что кровь его – моя, ... я чувствовал, что он родной мой... О, Израиль! Израиль! Ты скитаться должен в мире, тебя преследуют стихии даже...» И человеческая, понятная гордость мщения осложнена игрой судьбы, случая, оттенена глубокой религиозностью страдания, покорностью Богу Израиля. «У Бога моих отцов нет жалости...». И трагическое безумие Нозми перед смертью и гибелью, – единственный исход трагедии. Все рушилось, все гибнет – катастрофа нарастает (ее в пьесе нет). «Вы думали, что я бедна, но мой отец стократ богаче вас – и в столько ж лучше [...]. Я буду петь, плясать и веселиться! Прочь! Прочь, вы, слезы! – вы лжецы! Не плакать я хочу, но веселиться! Прочь слезы – мой отец богат!...»

Традиция русской литературы в еврейском вопросе грешила тяжко не только перед человечностью, перед ликом Божиим, отраженным в человеке, но и перед художественной правдой. Немезида искусства мстит сурово.

И вот – вместо художественных портретов – ряд карикатур, вместо живых образов – безжизненные марионетки, шаблон. Явившая столь высокие достижения, русская литература оказалась бессильной перед еврейской темой.

Правда, и у Лермонтова нет в этой области высоких достижений, но в самом подходе к теме, в задании, в пафосе замысла чувствуется новое слово, намечается новый путь, на котором лежат многообещающие художественные возможности. И все они только на этом пути. И знаменательно отметить, что в самом почти начале, когда традиция только складывалась, Лермонтов, пусть в замыслах и несовершенных заданиях, явил то, к чему мы теперь только идем. Так трудны пути высокого искусства и высоких тем.

И не пророчество ли, что в лирике Лермонтова прозвучало слово о жажде высокой песни, пусть дикой и вызывающей слезы, но, как звуками рая, светлым безумием озаряющей мрачную душу, измененную страданиями и полную муки, как кубок смерти, яда полный?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

(«Петербург», роман Андрея Белого. 1916 г.)

Очерк Л.С. Выготского о романе Андрея Белого «Петербург» был опубликован в журнале «Новый путь» (1916, № 47). В последующие издания сочинений Выготского он не вошел. Был перепечатан А. Козулиным в журнале «Панорама Израиля» (1989, 16 мая, № 258).

Очень часто приходится слышать обвинение в том, что евреи склонны все решительно, даже не имеющее никакого отношения к этому «всемирному племени» (слово Достоевского), рассматривать сквозь призму еврейской проблемы. Точно все, что совершается в мире, вся мировая история, в ее великом и малом – все равно, имеет к ней непосредственное касательство. Еврею, в конце концов, кажется, что вокруг него вращается мир, немудрено, если себя он возмнил центром. Да и одному ли еврею? Не об этом ли кричат антисемиты всех веков и народов: мир вращается вокруг еврея? Не об этом ли говорит Вл. Соловьев, называя еврейство осью всемирной истории? Разумеется, это не больше, как грубая ошибка, пожалуй, невежественное заблуждение; про это в любом сколько-нибудь «научном» курсе еврейской истории написано, всякий теперь знает, что зависимость здесь обратная, что еврейство вращается вокруг всемирной истории, что от Кира и Наполеона зависит оно, а не наоборот; что в каждой точке своего пути, в каждом шаге своего движения она подчинена, связана и пр., и пр. Одним словом, повторяется история с Землей и Солнцем: сейчас даже в приготовительном классе – и там уже известно, что не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца вращается, что иной взгляд – ненаучное суеверие, невежество. Однако, если этим примером воспользоваться и дальше, – как бы мы ни прониклись неоспоримой правильностью научных соображений, несомненная реальная данность нашего

опыта осталась тою же и после Коперника; и – пусть это только обман зрения – но обман необходимый, нераздельный с самим существованием нашим, со всем мировосприятием. И жизнь наша продолжает протекать на основе ложных предпосылок – будто Земля неподвижна и Солнце вокруг нее вращается. Такова уж природа человеческого «я», так уж устроен человеческий глаз, что всякое открытое место представляется взору замкнутым кругом, в центре которого – сам наблюдатель. Так же обстоит дело и в мире идейном вообще, еврейском в частности, трудно, смотря на мир из глубины еврейского «я», не представлять себе, что крестовые походы и открытие Америки – спутники планеты еврейской истории.

Эти мысли казались нам нужным предпослать дальнейшим строкам, посвященным рассмотрению нового русского романа с еврейской точки зрения, – как бы в оправдание. Тему нового романа, ее пафос можно определить одним словом: Россия; но точно так же, как во всякой точке истории всемирной прощупывается история еврейская, так и во всякой точке проблемы России есть выход в проблему еврейскую. Впрочем, если счесть недостаточными такие слишком общие соображения, можно привести и другое, имеющее помимо конкретности еще и то преимущество, что оно вводит нас в самое существо дела.

«...Даже панегиристы романа г. А. Белого едва ли откажутся признать, что его антисемитизм получил в романе довольно пошлое выражение».

Это – из отзыва «Русских записок» (№ 7, июль 1916 г.) Авторитетное мнение русского журнала показывает, что новый роман имеет все основания стать предметом обсуждения с еврейской точки зрения, что мы и намерены сделать в этих строках.

«Петербург» посвящен проблеме России, как и первый роман А. Белого. Так там было выявлено одно начало России, одна ее стихия, здесь противоположная. В этом смысле вполне справедливо замечание «Р[усских] Зап[исок]»: «Роман г. А. Белого откровенно тенденциозен». Петербург для автора – символ нерусской России, чуждой ее естеству стихии, вторгшейся в ее историю, начало искусственное, рационалистическое, вскрываемое в правительстве и революции (1905 г.), – порождениях нерусского духа. И вот здесь, в проблеме нерусской России, – выход в еврейскую тему, которую роман затрагивает, правда, только мимоходом. Даже больше: *прямо* затрагивается она очень отдаленным образом, но *косвенно* – в романе дан

весьма и весьма значительный, показательный материал. Прежде всего – как ни расценивать роман – несомненно, что по заданию это есть произведение художественное, и идеи автора получили соответственное выражение в зависимости от самой избранной автором художественной формы. Вот почему выражение это глубоко своеобразно.

Нерусский Петербург воплощается в образах символических, лишенных всякой жизненно-реалистической окраски, точно все эти призраки, не то существующие, не то кажущиеся в сомнительных туманах, породивших их; всё здесь – даже самые зрительные образы – зыбко, неустойчиво, расплывчато, размывается туманом, колеблется, двоится, возникает и сейчас же вновь улетучивается. Нет здесь поэтому определенных и еврейских образов; может быть, нет даже ни одного конкретного еврея, кроме эпизодических фигур; но есть еврейские черты, черточки, штрихи, которые то складываются в определенные образы, то рассыпаются, то, вкрапленные, оживают в массе совсем иных линий и черт. Весь роман – его наружная ткань – раскрывается в *инородческом*, в том, что есть нерусского в чертах, лицах, образах. Петербург назван в самом начале «не русским городом»; не русские по происхождению герои – отец и сын Аبلеуховы (его предки: Сим, мирза Аб-Лай – из киргиз-кайсацкой орды) – так вкрапляется черточка монгольского лица в образы, главнейшие в романе; то же с другим героем провокатором Липпанченко: «по происхождению он не русский, настоящая его фамилия Липенский – едва ли не жид», в него словами и намеками автора вкраплены черточки самые разные: монгола (во всех русских ведь течет монгольская кровь), хохла, малоросса – «этот хитрый хохол на хохла, кстати сказать, и не походит вовсе: походил скорее на помесь семита с монголом», то вдруг он «грек из Одессы»; подозрительные Флейш и Нейтельнайн. А разбросанные всюду, на каждой почти странице черточки – восточные «хари» (татары, японцы) с «пакостным отпечатком и пакостными глазами», татарщина, монгольство, китайцы и монголы и семиты даже в галлюцинациях, в бреду – «черты этого лица по временам слагались в семита, чаще же проступали в лице том монгольские черточки» (галлюцинация), даже инородческие боги, перс, армянин, папуасы, негры, черные орды, желтолицы, китайцы, молдаванин и пр. и пр. – все это прямо внушает видимый какой-то образ инородческой, нерусской России. Нельзя, однако, думать, что все это только средство художественного воплощения отвлеченной идеи.

Смысл раскрывается с достаточной прямолинейностью: он глубоко связан с самой сутью замысла. Идея «Петербурга» не новая: «С той чреватой поры, как примчался к невшскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия». И вот эти два начала разъединенной России – Петербург и Россия подлинная – глубоко враждебны, противоположны друг другу. Петербург – и то, что автор этим словом обозначает, – начало гибели, «водных хаосов», небытия. Поэтому пророчествует поэт об исчезновении Петербурга... Здесь соприкасается тема с проблемой Востока, панмонголизма, в который автор идет вслед за Вл. Соловьевым, почувствовавшим «предвестие великой судьбины Божией». Здесь и антисемитизм.

Петербург называет один «восточный человек» в романе своим городом. Так, в сцене митинга перекликаются два еврея: «...Какой-то весьма почтенный еврей в барашковой шапке, в очках, с сильной проседью: обернувшись назад, в совершеннейшем ужасе он тянул за полу свое собственное пальто; и не вытянул; и не вытянув, раскричался: «Караша публикум; не публикум, а свинство рхусское!..» – «Ну и што же ви, отчево же ви в наша Рхассия?» – раздалось откуда-то снизу. – Это еврей бундист-социалист перекликался с евреем не бундистом, но социалистом». Вот эта «наша Рхассия», Россия нерусская, инородческая, «жидовская» и воплощена в романе.

Трудно даже сказать определенно, указать точно, в чем именно выразился антисемитизм автора. Есть, правда, и в новом романе – не избег их автор – многие черты старого, почти анекдотически-реалистического зарисовывания. Здесь и бегло очерченная карикатура мелкого подлеца, газетного сотрудника Нейтельпфайна, как-то причастного к провокации; есть и обычное в русской литературе словоупотребление – «жиды», сливающееся почти без остатка с манерой разговора эпизодического редактора консервативной газеты, представителя – правда, карикатурного, – политически-бытового антисемитизма; есть и традиционные литературные слияния еврея и предателя. В этой части своей роман, глубоко новый во всех отношениях, примыкает к многим старым традициям; недаром главы романа, такие вычурно-изысканные, украшены эпиграфами из Пушкина. Нетрудно уловить в семитических чертах провокатора отзвук длинной вереницы евреев-предателей – у Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева – и многих других. И,

разумеется, поскольку эта сторона подлежит суду художественному, в ней сказались все та же беспомощность в подходе к этому предмету изображения, которая так характерна для всех названных писателей. Взять хотя бы приведенный выше эпизод из описания митинга, имеющий не только описательно-бытовое, но и символическое значение: «ка-раша публикум» – да ведь тут необходимо приписать «еврей» – иначе вы портрета и не узнаете.

Но этот непосредственный антисемитизм не только не исчерпывает интересующего нас вопроса, но едва только покрывает его меньшую и наименее интересную сторону.

Проникающая весь роман «русская идея» включает в себе неуловимый, как бы «пирический» антисемитизм, который чувствуется чуть ли не за каждым словом. Некая инородная сущность, вышедшая в обиталище духа, «в тело» (говоря словами А. Белого) России, недаром наделена чертами семитическими. Недаром галлюцинация, овладевшая большим духом героя, рисовала ему лицо семита. Недаром в бреду другому герою представляется «перевоплощение инородцев в кровь и плоть столбового дворянства Рос[сийской] Имп[ерии]» с целью, с «миссией» – «расшатать все устои», все предать пламени и уничтожению, привести к гибели. И недаром в этом, не знаящем определенных и обыкновенных чувств и движений, романе мимоходом останавливается автор с реалистически-психологической точностью бытописателя на том унижении «национального чувства», которое испытывает герой, слыша разговор подозрительной Флейш о России.

В цитированном уже нами отзыве «Р[усских] Зап[исок]» А. Белому вменяются в вину его «социально-политические пристрастия», сказавшиеся в определенном изображении революции и правительства; едва ли «соц[иально]-полит[ическим] пристрастием «он исчерпывается; поэтому едва ли до конца справедливо замечание о «пошлости» его выражения, м[ожет] б[ыть], и присущей некоторым местам романа. Антисемитизм А. Белого гораздо больше и глубже «соц.-полит. пристрастия». Здесь, думается нам, получило свое художественное выражение (оценка выходит за пределы этой темы) то характерное и глубоко знаменательное умонастроение «мистического антисемитизма», которое очень показательно для переживаемого времени и все более и более охватывает круги «кающихся интеллигентов». В умонастроениях русской интеллигенции в еврейском вопросе довольно определенно намечается известный сдвиг. После бурно пережитой весны «братства народов», –

«без различия» сменившей вековой антисемитизм, пропитавший собой и мысль и чувство общества и окаменевший в неподвижную традицию, — наступила пора теоретических углублений. Элементарные истины известны всем, хорошо усвоены, но сфера их приложения намеренно ограничена областью практического применения, социально-политического строительства. История сложнее отвлеченных элементарных норм; и в роковом узле, которым трагически связаны судьбы России и еврейства, почувствовалась глубокая антикомичность. Вл. Соловьев видел особый, мистический смысл в этом узле истории. Новые представители и носители идеи России тоже мистически (потому что рационально необъяснимо) чувствуют этот смысл, но уже совершенно иначе. Воскресает все более и более идейное наследие Достоевского — тот антисемитизм, который устанавливает исконную, предопределенную, фатальную некую враждебность «идеи жидовской» с идеей России, гибельность ее для России. Здесь антисемитизм получает свое обоснование и в конечном счете упирается в необъяснимые чувствования мистического смысла истории. Насколько лет тому назад Н. Бердяев провозгласил принцип религиозного антисемитизма, противления духу Израиля, осудивши антисемитизм политический, расовый, бытовой и пр[очий] с точки зрения христианского сознания. И даже в «Изите», до конца защищающем позицию элементарной справедливости, нет-нет да и проскальзывают отдельные черточки этого настроения (напр[имер], Мережковский говорит о глубоких отталкиваниях, которые существуют между еврейством и христианством, но говорить о которых нельзя, потому что это значило бы вводить как бы духовную черту оседлости. Уничтожьте сперва политическую, говорит он, а уж потом установим духовную).

* * *

Антисемитизм в конечном счете далеко не просто объяснимая вещь. Это один из самых загадочных спутников еврейской истории. Просто — более или менее — объяснимы отдельные исторические формы антисемитизма, но сущность его, его некоторая универсальность, точно указывающая на его неизменную связь с самым бытием еврейства, с существом его исторической идеи, — глубоко необъяснимы. Антисемиты всегда чувствовали, вслед за Достоевским, «жидовскую идею», которая движет и влечет нечто такое мировое и глубокое, о чем человечество еще, может быть, не в силах произнести свое последнее слово». Антисемитизм есть, конечно, глубоко искаженное, неверное, но уди-

вительное и непонятное отражение тайны Израиля. Евр[ейская] история режет мировую на слишком большой глубине, и антисемитизм не есть пена на поверхности течения, но внутренние, глубинные и сокровенные от глаза колебания и струения бездн. Ведь антисемитизм — вечный спутник вечного народа, и уже одна его вечность заставляет рассматривать его как отражение *sub specie aeternitatis* тайны вечности еврейского народа.

Новый роман А. Белого дает художественное выражение (с уклоном от Достоевского к Гоголю) этому чувствованию, этому умонастроению: сквозь зыбкую ткань видимой действительности и нормального дневного сознания просвечивает иная действительность, где все становится «то, да не то» (говоря словами романа), где обнажаются темные корни и истории, — и там в этой *иной* действительности пререзаются и отпечатлеваются семитические черты, которые в болезненном бреду, в галлюцинации складываются авторским сознанием в роковые знаки гибели.

АВОДИМ ХОИНУ

Очерк «Аводим хоину» был опубликован в журнале «Новый путь» (1917, № 11-12) и не вошел ни в одно издание сочинений Л.С. Выготского. Впервые был перепечатан проф. А. Козулиным в журнале «Панорама Израиля» (1989, № 258); им же было написано предисловие к этой публикации. «Аводим хоину» в переводе с древнееврейского значит: «Рабами были мы». Эти слова взяты из «Пасхальной Агады».

Пафос переживаемой исторической минуты есть не только пафос величественной и торжественной радости освобождения от гнетущей власти прошлого, но, главным образом, пафос страха за будущее. Не так ли точно должны были чувствовать выходцы из Египта, только что преступившие его границы, оставившие за собой привычное и обычное ярмо рабского существования, когда перед ними встали и раскрылись безмерные серые дали бескрайней пустыни? Что Будет? Куда Идти? Кто знает, где верный путь?

Еще вчера все было понятно и ясно: мы так сжились со вчерашним днем. У нас выработалась и укоренилась своя философия рабства, и вчера еще единою добродетелью была «готовность взойти на костер». Связанному, в конце концов, все ясно; ему не надо мучительно вопрошать: что делать? Но сегодня неожиданно и внезапно, вдруг – руки развязаны, нечаянно обретена свобода распоряжаться собой, что-то делать, двигаться, куда-то идти. Еще не создалась свободная походка, еще нет свободных слов, еще не пережит сознанием совершившийся переворот, еще старая душа в старом теле живет, радуется, трепещет и встречает новый день. Новый день застал нас не готовыми.

Аводим хоину. Воля еврейства была связана Историей еврейства, говорит Р. Непан, «редко история актов, а чаще история страданий, гораздо меньше история того, что евреи делали, а гораздо больше история того, что с ними делали». Внутренняя неавтономность, от-

сутствие своего центра и объединяющего закона превратили ее течение для стороннего наблюдателя в «конгломерат случайностей»; не творческая воля народа изнутри определяла поступательный ход исторического процесса, но события, эту волю подчинившие себе извне, сообщали движение еврейству. Одним словом, рабство не только народа, но и его истории.

Все, что было в еврействе активного, восстало против такого положения вещей. Овладеть ходом истории, самим делать ее, вернуть ей автономность – к этому сводятся все требования еврейских политических партий. И если в глазах массы еще так недавно пассивное восприятие не нами творимой истории было наилучшей и самой подходящей из политических систем, то в глазах активного меньшинства это было худшим из порождений рабства.

Иго, тяготевшее над еврейской историей, еще далеко не сброшено, да и вряд ли оно может в скором времени быть окончательно устранено: слишком глубоко оно коренится в самых основных условиях существования еврейства, в его рассеянии и т.д. но в значительной мере все же роковое безволие может быть преодолено в близкие дни: чаяния близки к осуществлению. Русское еврейство самым ходом событий поставлено перед близким обнаружением и выявлением народной воли: ею будет возвращена та относительная свобода, которая делает ее сознательные выражения и проявления одной из движущих сил истории. Надлежит поэтому взвешивать существо и значение этого факта, ибо в нем центр и значение всего совершающегося в жизни еврейства переворота. В некоторой части еврейство перестает быть парализованным, восстанавливается некая дробь народной воли, делается первый шаг.

Мы сейчас стоим у порога всего этого – на повороте еврейской истории.

Сознание современности в условиях исторической жизни в этот момент обусловило то, что этот переворот отливается исключительно в формы политические. По существу же он охватывает гораздо больше – не только стихию политики, но и всю стихию еврейской истории. И едва ли поэтому он может ограничиться одной политикой – начавшись в ее плане, он пересекает иные планы нашей действительности. Поэтому первая задача народной мысли заключается в том, чтобы строго отграничить сферу законного господства политики от той сферы, куда она не должна проникать. Еврейская масса

политически почти не жила уже много веков. К чему же ведут ее политические партии? В основе национальной стороны всех их учений лежит позитивный национализм. Три теоретических начала составляют его: национализм, автономизм и секуляризация еврейской национальной идеи. В разной мере эти три начала проникают в программы и теории разных партий, но в самом существенном определяет и те и другие то общее им всем, что может быть вынесено за скобки, тот общий множитель, который, несомненно, будет выдвинут в объединенном выступлении этих партий, представляющих народ, вовне. Здесь не место подвергать теоретическому рассмотрению эти начала, но в самых общих словах здесь может быть намечена и поставлена проблема.

Народ больше, чем партия; история – чем политика; религия и миропонимание – чем программа. Никогда нельзя народную жизнь строить на основах позитивизма и рационализма: «на началах науки не устранился еще ни один народ в мире». Проблема самого исторического бытия, как и проблема народного сознания, народной культуры, – суть проблемы не политические. Когда одна из партий формулировала свои идеалы в словах: «партия – народ» и «народ – партия, она выразила самую сущность партийных домогательств: обратить народ в организованную политическую партию, спаянную единой программной целью, подчиняющуюся единой партийной дисциплине. И точно: не это ли есть идеал – видеть *всех* евреев бундовцами, сеймовцами, сионистами? Идеал, по существу, неверный. Народная душа не укладывается и не умещается в рамки исповеданий и убеждений. Все те, кто чувствуют себя и живут евреями, не потому что «хотят быть евреями» (формула национализма), но остаются евреями столь же необъяснимо, как остаются каждый миг самими собой, – все те своим внутренним опытом знают, что народная воля не создается декретами, указами и организациями, как культура не создается по рецепту планомерными усилиями партий, как народ не создается по рецепту национализма. Все это может только облегчить или затруднить выявление, обнаружение народной воли, придать ей соответствующую форму – и ни на волос больше. Народная воля действовала и прежде невидимо и неосознано, но таинственно и властно – в миллионах отдельных евреев, которые не сговариваясь знали одно и то же, в миллионах событий и дел. Воля не дается народу дарованием ему персональной или территориальной

автономии, поэтому жизненна только та еврейская политика, которая направлена не к созданию, а к истинному выявлению еврейской народной воли, которая подчинена его истории. Автономизм есть пустое слово, если он не опирается на живую волю народа: политики должны подчиниться народной воле, а не подчинять ее. Есть своя законная сфера господства у политики и у позитивного национализма: в учредительное собрание и в свод законов нельзя идти ни с чем иным, как с позитивным и рационалистическим. Освобождение и исход сулят выполнить круг народной жизни сектором политики. Но даже позитивный национализм формулирует: «нация есть историческое в нас».

...В эти дни освобождения, озаренные отблеском великого Исхода, когда творится живая *агада*, – в эти дни, больше чем когда-либо, мы знаем, что проблема народной воли есть в то же время проблема народного сознания. Глубокий декаданс, пережитый еврейством, должен смениться ренессансом народного сознания: только тогда оживет народная воля.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Айхенвальд Ю.И. 57, 72, 86
 Анненский И.Ф. 22, 26, 65
 Асмолов Г.А. XIII
 Ашпиз С.М. 12, 55

Байрон Дж. 101, 103
 Бахтин М.М. XIV, 51, 71
 Безант А. 32, 68
 Белинский В.Г. 91
 Белый А. 29, 67, 105-111
 Бердяев Н.А. 110
 Блаватская Е.П. 32, 68
 Блок А.А. 25, 65, 66
 Бове О.И. 44, 70
 Брюсов В.Я. 40, 42, 44, 66, 69
 Булгаков М.А. VIII
 Булгарин Ф.В. 76
 Бунин И.А. 18-19, 21, 29, 64
 Быховский А.Я. 40, 69

Волошинов В.Н. XIV, 52, 71
 Воронский В.В. 45, 70
 Врубель М.А. 44
 Выгодская А.С. 6, 13
 Выгодская Г.Л. VII, 21
 Выгодская З.С. 6, 7, 13, 33, 62, 75
 Выгодская (Смехова) Р.Н. 54, 56
 Выгодская Ц.М. 5
 Выгодский Д.И. 4, 8, 14, 15, 36,
 37, 38, 39, 41, 46, 61
 Выгодский С.Л. 4-5

Гальперин П.Я. 23, 65
 Гаршин В.М. 55, 72
 Гегель Г. 9, 65
 Гейне Г. 5
 Гераклит 34, 69

Гершензон М.О. 40, 42, 43, 69
 Герье В.И. 32, 34, 68, 69
 Грец Г. 9
 Гешелина Л.С. 49
 Гоген П. 22
 Гоголь Н.В. 76, 79, 80, 81, 93,
 100, 101, 108, 111
 Горнфельд А. 76, 79, 82, 84, 87, 98
 Горфункель Х.Д. 5
 Горький М. IX
 Гофдинг Г. 50, 70
 Гофман В.В. 28, 66
 Гумилёв Н.С. 27, 66, 72
 Гуссерль Э. 51, 71

Декарт Р. 23, 65
 Делич Ф. 10, 62
 Державин Г.Р. 60, 99, 100
 Джемс У. 32, 68
 Добкин С.Ф. VIII-XIV, 71, 72
 Добкина Ф.Ф. 7, 12
 Достоевский Ф.М. XIV, 22, 30,
 31, 51, 52, 65, 68, 71, 74-98, 101,
 105, 108, 110, 111
 Дюма А. 77, 100

Екатерина II 2, 60
 Есенин С.А. 29, 66, 67

Жаботинский В. 79, 84
 Жуковский Н.Е. 19, 64

Зайцев Б. 6
 Зелинский Ф.Ф. 56, 72
 Ибсен Г. 20
 Иванов Вяч.Вс. X, XI, XIII, XIV,
 23, 33, 53

Ильин И.А. 50, 70

Каминская И. 20, 64
 Карлейль Т. 10, 62
 Кассо 17, 19
 Ключев Н.А. 29, 66-67
 Ковнер А.-У. 31, 68, 86
 Козулин А. 105, 112
 Коперник Н. 106
 Корнилов К.Н. 51, 71

Левитин К.Е. X
 Леонтьев А.Н. XIII
 Лермонтов М.Ю. 78, 99-104, 108
 Леруа-Болье А. 77, 78, 102
 Лессинг Г.Э. 101, 103
 Липскеров К.А. 28, 66
 Лифанова Л.М. VII
 Лопе де Вега Ф. 56
 Лурия А.Р. X, XIII, XIV, 52, 71
 Лурье С. 86
 Лурье Т.В. 86

Маковельский А.О. 36, 40, 42, 69
 Мандельштам Н.Я. VIII, 67
 Мандельштам О.Э. VIII, 29, 67
 Маркс К. XIII
 Маяковский В.В. 29, 61, 67
 Мережковский Д.С. 110
 Мореас Ж. 41, 45, 70
 Моррис У. 38, 69

Нейман Г.М. 41
 Некрасов Н.А. 76
 Николай I 2
 Ницше Ф. 36

Орленев П.Н. 20, 64
 Остапец Н.Р. 39

Павлов И.П. 52, 71
 Паскевич И.Ф. 2, 61
 Пастернак Б.Л. IX, 29, 67
 Пастернак Е.Б. X
 Петрарка Ф. 54
 Пнаже Ж. X
 Пузырей А.А. X
 Пушкин А.С. 20, 24, 25, 26, 42,
 43, 45, 56, 75, 76, 78, 99, 101, 108

Растрелли В.В. 2
 Ренан Ж.-Э. 10
 Розанов В.В. 30, 68, 86
 Рубина И.М. XIV
 Румянцев Н.П. 2, 5, 60-61
 Румянцев-Задунайский П.А. 2, 60

Сабашниковы М. и С. 38
 Сакулин П.Н. 19, 64
 Скотт В. 101, 103
 Соловьёв В.С. 67, 70, 105, 108, 110
 Спиноза Б. XIII, 23, 34, 65
 Станиславский К.С. 22
 Сыркин А.Л. X

Таиров А.Я. 22, 64
 Таи-Богораз В.Г. 3, 61
 Тименчик Р.Д. 99
 Толстой Л.Н. 10, 30, 36
 Тургенев И.С. 76, 84, 100, 108
 Тютчев Ф.И. 26, 65

Узин В.С. 54-56, 72

Фаворский В.А. XII
 Фейгенберг И.М. XIV, 7
 Франк С.Л. 50, 70
 Франс А. XII
 Франциск Ассизский 32
 Фрейд З. 33, 68
 Фрид Г.С. X

Ходасевич В.Ф. 58, 72
Христиансен Б. 33, 68

Чаплыгин С.А. 19, 63
Чарторыйские 2, 60
Челпанов Г.И. 50, 51, 70
Чёрный С. 27, 65
Чехов А.П. 36, 65

Шагал М. 22
Шагинян М. 15, 63
Шанявский А.Л. 19, 30, 57, 63
Шекспир У. 36
Шестов Л.Н. 36, 40, 42, 43, 69
Шиллер Ф. 103
Шкловский В.Б. 15, 61, 63
Шопенгауэр А. 67
Шоу Б. 16
Шпет Г.Г. 8, 50, 51, 54, 62
Штейнер Р. 67

Эббингауз Г. 50, 71
Эйзенштейн С.М. XII, 53, 72
Эйхенбаум Б.М. 15, 63
Эльконин Д.Б. XIII
Эренбург И.Г. 35, 40, 41, 42, 69
Эфроимсон В.П. X
Эфрос А.М. 22, 65
Эфрос Н.Е. 22, 65

Юниверг Л.И. XIV

Якобсон Р.О. 15, 63
Ярошевский М.Г. X

**ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, БИБЛИОГРАФИЯ,
МЕМОАРЫ
RUSSIAN DOCUMENTS, BIBLIOGRAPHY, AND MEMOIRS**

1. Н. Н. Моисеев, Сквозь дебри двадцатого века:
Свободные размышления
N. N. Moiseev, Politics and Science in the USSR and Russia:
A Biographical Memoir
2. Экономика ГУЛАГа и ее роль в развитии страны. 1930-е годы.
Сборник документов
The Economics of the GULAG and its part in the Development of
the Soviet Union in the 1930s: A Documentary History
3. А.Н. Крылов, Мои воспоминания
A.N. Krylov, The World of the Russian Naval Reformer.
Reminiscences on Russian Life at the Turn of The Century
4. Мир русской истории. Энциклопедический справочник.
The World of Russian History. Encyclopedical Reference Book
5. Карл фон Ботмер, С графом Мирбахом в Москве
Karl von Bothmer, With Count Mirbach in Moscow.
6. Москва в истории отечества (к 850-летию города)
Moscow in the History of the Fatherland
(on the 850th Anniversary of the City)
- 7-9. Ю.Н. Афанасьев, Россия на распутье
Yu.N. Afanasiev, Russia at the Crossroads
Том 1. Я должен это сказать
Том 2. Петля Ельцина
Том 3. Наши надежды
Vol.1. I Must Tell This
Vol.2. Yeltsin's Loop
Vol.3. Our Hopes
10. С.М. Белоцерковский, Первый космонавт. История жизни и гибели.
S.M. Belotserkovskii, First Cosmonaut. Story of His Life and Death
- 11-12. С.Э. Шноль, Герои и злодеи российской науки. Тт.1-2
S.E. Shnoll, Heroes and Villains of Russian Science. Vol. 1-2
13. Ю.В. Кудрина, Россия на рубеже веков глазами
Императрицы-Матери
J.V. Kudrina, Russia at the Turn of the Century Through
the Eyes of the Mother-Empress
14. С.Ф. Добкин, От Гомеля до Москвы
Начало творческого пути Льва Выготского
S.F. Dobkin, From Gomel to Moscow
The Beginning of L.S. Vygotsky's Creative Way